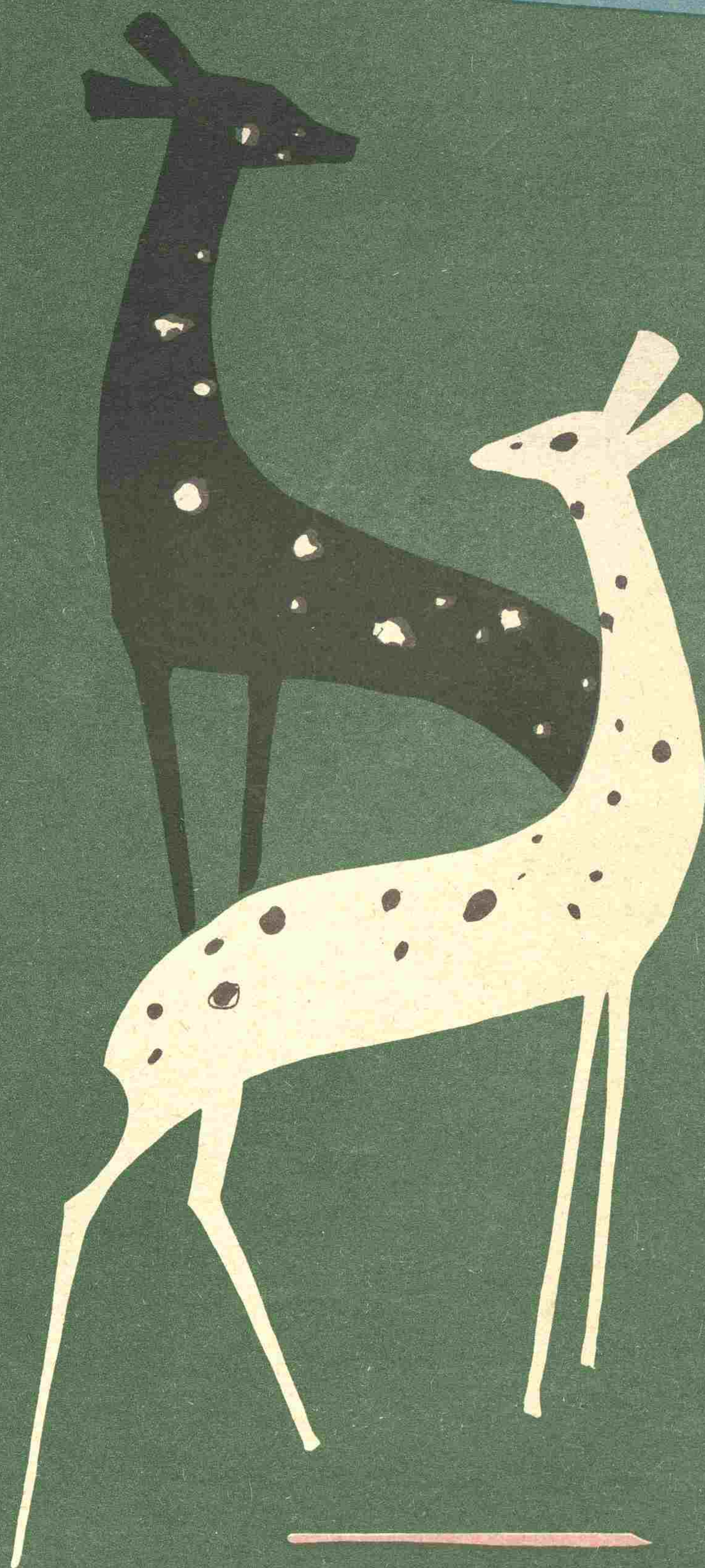


2

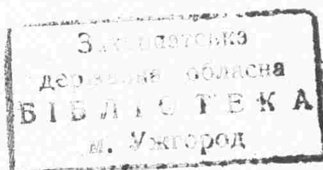
АНГАРА

3 ТМО Т. 3600000 З. 2861--90

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР



СОДЕРЖАНИЕ

№ 2 (59)
АПРЕЛЬ
ИЮНЬ
1963



Критика и библиография

Обложка художников *В. Пинигина, С. Старикова*

Рисунки *А. Соколова, А. Терехова*
На вклейках рисунки *Л. Могилева, Н. Протасова, А. Соколова*

Адрес редакции:
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1963

ВСЕГДА С ТОБОЙ, ПАРТИЯ!

(Отклики иркутских писателей на встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства)

Константин СЕДЫХ

Двухдневная встреча в Кремле руководителей нашей партии и правительства с деятелями литературы и искусства — это большое, исключительно важное событие в жизни родной страны. Писатели, художники, композиторы, творческие работники кино и театра убедились во время этой волнующей встречи, как радуется наша партия появлению каждого высокоидейного и высокохудожественного произведения, как она поддерживает все талантливое и передовое в литературе и живописи, в музыке и на сцене театров.

Но вместе с тем партия подвергла строгой и справедливой критике тех, кто предал забвению в своем творчестве плодотворный метод социалистического реализма и занялся формалистическим и абстракционистским трюкачеством в живописи, созданием наскоро сшитых, очернительских повестей и мемуаров в литературе, серых и убийственно скучных пьес и кинофильмов, написанных рукою оторванных от нашей многообразной жизни ремесленников.

В своей яркой и великолепно аргументированной речи, посвященной советской литературе и искусству, Никита Сергеевич Хрущев призвал писателей создавать романы и поэмы, воспевающие великие дела нашего богатырского народа, строящего светлое будущее всего человечества — коммунизм. Его устами партия сказала нам, что между двумя идеологиями, капиталистической и социалистической, не может быть мирного сосуществования. Это значит, что сейчас нельзя жить, «добру и злу внимая равнодушно».

Мы, советские писатели, с радостью и воодушевлением отдадим все силы нашего ума и таланта на создание произведений, достойных великих титанических дел советского народа и героической партии Ленина.

Гавриил КУНГУРОВ

Велико назначение литературы, исключительно влиятельна ее роль в жизни и судьбах людей. Партия и народ заинтересованно следят за ее развитием. Советская литература — действенный помощник партии,

важнейшее звено в политической работе среди широких масс народа. Советская литература добилась очень многого. Победа никогда не давалась нам легко, сама собою; литература наша мужала в борьбе с антиленинскими взглядами, в преодолении попыток буржуазной пропаганды увести ее с генерального пути — партийности, народности, реализма. Нападая на основу основ социалистического реализма, буржуазные пропагандисты вытаскивают на свет и назойливо преподносят старую, избитую ложь: советская литература не свободна, творческая индивидуальность скована.

Ленин выдвинул принцип партийности литературы. Он предвидел и предупреждал: этот принцип вызовет у «истеричных интеллигентов» недовольство, они поднимут вопль, закричат, что это омертвляет свободу литературного творчества. Ленин писал: «Свобода слова и печати должна быть полная. Но ведь и свобода союзов должна быть полная. Я обязан тебе предоставить, во имя свободы слова, полное право кричать, врать и писать что угодно. Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-то и то-то».

Время, история подтвердили торжество ленинских идей.

Встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией, выступление секретаря ЦК КПСС т. Ильичева, знаменательная речь Н. С. Хрущева — проявление отеческой заботы народа о дальнейшем росте и расцвете советского искусства. Партия всегда своевременно и оперативно помогает новому подъему; отсекая негодное и вредное, поощряя и вдохновляя писателей на завоевание истинных высот искусства, она учит беречь, держать в чистоте революционное знамя марксистско-ленинской эстетики.

Отрадно и радостно трудиться в наше время. Вдохновенные призывы партии полнокровно отражать живую жизнь, создавать многогранные образы современников сердечно восприняты писателями. Каждый преисполнен желанием быть надежным помощником партии.

Франц ТАУРИН

У советского художника есть свое место в строю. Он помощник партии в благородном деле идейного, нравственного и эстетического воспитания народа.

Основной смысл взволнованного и принципиального разговора, состоявшегося на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, — это утверждение непреложной истины, что талант художника — достояние народа, что художник обязан в полную силу своего таланта бороться за дело партии и народа, а не стоять в стороне и тем более не путаться под ногами у строителей коммунизма.

Талант художника — это его оружие.

Партия призывает художника уважать свое оружие, бдительно следить, чтобы оно не покрылось ржавчиной враждебной идеологии и не затупилось в ремесленных поделках.

Белла ЛЕВАНТОВСКАЯ

Нет задачи, более ответственной и трудной, более увлекательной, чем писать о своем современнике.

Как боевое руководство к действию в этом направлении восприни-

маешь весь тот откровенный и взыскательный разговор, который развернулся на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства.

Именно здесь художнику необходимы не только глубокое знание жизни, но и зрелость гражданской мысли, и отточенность мастерства для раскрытия психологической глубины характера, события, действия.

Еще и еще раз сурово и заботливо, требовательно и тревожно напомнила нам партия о величайшей гражданской ответственности художника перед народом, о необходимости борьбы со всем отсталым, реакционным, антигуманистическим.

Зная великую силу воздействия художественного творчества, еще раз проверяешь себя. Какой след оставляешь ты в сердцах людей: добрый или недобрый? Что нужно молодому сознанию, одновременно щедрому и жадному, доверчивому и бунтарскому, зоркому и незрелому? Ведь это ты питаешь и формируешь его своим мировоззрением и мастерством.

Партия напомнила нам о первостепенной важности идейной направленности таланта, как достояния общенародного.

Только вдохновенным творчеством может ответить художник на такое доверие и заботу партии о его труде.

Марк СЕРГЕЕВ

Думается, самое главное, что сейчас нужно писателям, и уже сложившимся, и начинающим, — это глубина. Глубина проникновения в жизнь народа, глубина размышлений, художественных обобщений, глубина красок, которыми мы изображаем труд, любовь, радость и горе, глубина оттенков, нюансов человеческих переживаний.

Нет ничего хуже, чем примитивизм, неряшливое и поверхностное изображение человеческих судеб худосочными, обсосанными словами, уже не несущими ни эмоций, ни мысли. А мы очень повинны в этом перед нашим народом. И если книги залеживаются на прилавках магазинов, если годами стоят неразрезанными на библиотечных полках — значит, ищи, писатель, просчет, значит, не стало слово твое нужным, просто жизненно необходимым для людей, не отыскало своего читателя, иначе говоря, умерло, едва появившись из-под пера.

В гущу народа, в гущу идейной борьбы, в гущу сражения за коммунизм призывает нас партия. И литераторы честно исполнят свой долг.

Лев КУКУЕВ

Состоялся большой, нужный, деловой разговор. С большой, яркой речью по вопросам творчества от имени партии и правительства выступил Никита Сергеевич Хрущев. Партия, народ и творческая интеллигенция неразделимы. Замечательна не только сама эта встреча, но замечательны и события, и время, в которые мы живем. Художник, время, события неразделимы, и это накладывает на нас — писателей — огромную ответственность перед партией, перед народом.

Хочется писать, и писать так, чтобы твое произведение помогало людям жить и трудиться.

Василий ТРУШКИН

Новая встреча руководителей партии и правительства с деятелями советской литературы и искусства вылилась в глубокий, разносторонний и принципиальный разговор о роли и месте художника в жизни народа, о позиции писателя в современной борьбе за сердца и души людей.

Русскую литературу и искусство всегда отличала революционная страстность в утверждении высоких человеческих идеалов, социальной справедливости, раздумья о судьбах народных, борьба за его счастье. Великий Пушкин гордился тем, что неподкупный голос его «был эхом русского народа». «Я лиру посвятил народу своему», — утверждал поэт революционный демократ Н. А. Некрасов.

Эти славные традиции служения народу по праву наследует советская литература, завоевавшая уважение и признание на всех континентах нашей планеты. Н. С. Хрущев назвал писателей солдатами партии. И плох будет тот солдат, кто не умеет как следует обращаться с вверенным ему оружием, оружием тем более всесильным, что оно обращено к сердцам миллионов. У нас, советских литераторов, должна быть гордость за свой народ, за свое искусство — искусство ярких и цельных характеров, искусство идейной зрелости и высокого художественного совершенства. Каждый из нас в меру сил и таланта должен стремиться к тому, чтобы наша литература была достойна своей эпохи, народа своего, строящего коммунизм.

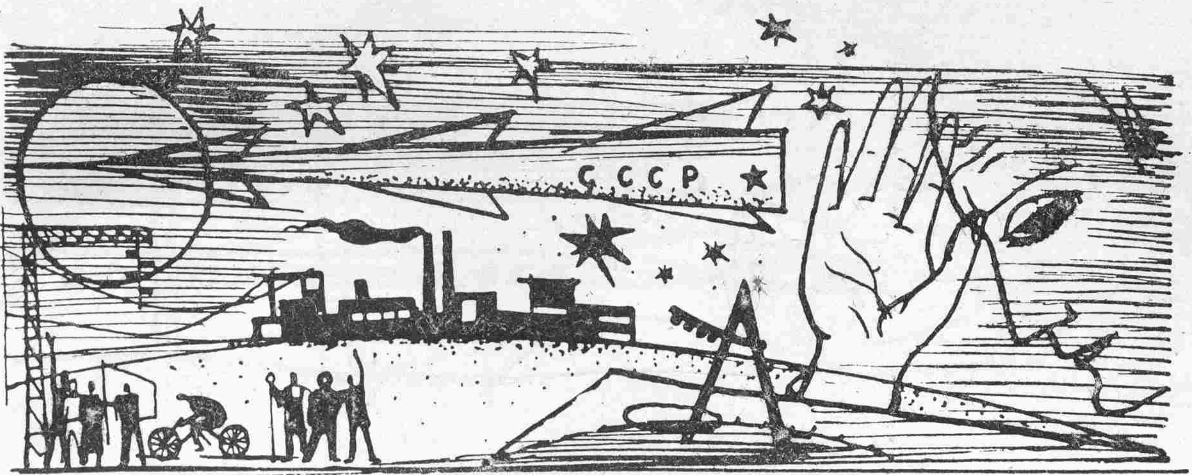


Героя кубинского народа, вождя кубинской социалистической революции, первого секретаря Национального руководства Единой партии социалистической революции и Премьер-Министра революционного правительства Республики Куба Фиделя Кастро с чувством горячей симпатии встречали иркутяне на своей земле 11 мая 1963 года. (Снимок внизу).

На Байкале Фиделю Кастро на память о Сибири был подарен медвежонок. (Снимок вверху).

Фото В. Лысенко

ЗНАКОМЬТЕСЬ—МОЛОДЫЕ



Влад. Березин

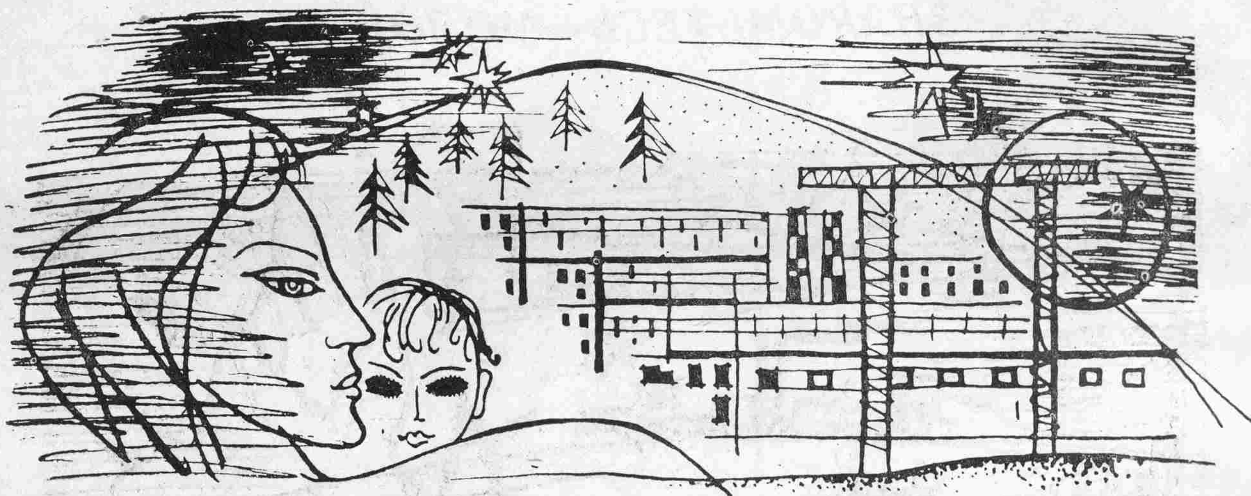
ЖАЖДА

1. Солнце

У каждого есть свое солнце.
У каждого — только одно.
В награду за годы
бессонниц
Над жизнью восходит оно.
Восходит оно лишь однажды.
На огненных крыльях зари.
Тогда начинается жажда,
Священная жажда
творить.
Жажда —
предвестник открытий,
В грядущее брошенный мост.
От мелочей солнцем отмытый,
прозрением полнится мозг...
Прозрение
строит ракеты
и чертит проекты станков,
Прозренье диктует поэтам
слова настоящих стихов.
Отдай же всего себя веку,
когда твое солнце взойдет.
И горе тому человеку,
который пропустит
восход.

2. Движение

Неутомимая жажда движения
к людям приходит
с момента рождения.
Первые взмахи детских ручонок,
сложные знаки формул
ученых —
это и следствие,
это и сущность
жажды движения, людям присущей.
Жажда движения.
Жадность движения!
Это — сердец беззаветное жжение.
Это — неторные тропы геологов,
ярость пурги за брезентовым пологом.
Это — дрейфующие станции Севера,
Это —
и в новых домах —
новоселье.
Жажда движения.
Жадность движения.
Это — великим идеям служение.
Это — плотина у мыса Пурсея.
Это — плотины
на Енисее.
Это — предчувствие скорых отплытий
У открывателей дальних миров.
Это — рождение новых открытий
у мыслителей
и мастеров.
Время подвластно законам движения.
И жизнь им подвластна
прямо
или косвенно.
Из цепких объятий земного притяжения
Люди вырвались в объятия космоса.
Жадность движения!
Жажда движения —
Это черта моего поколения.



Л. Хрилев

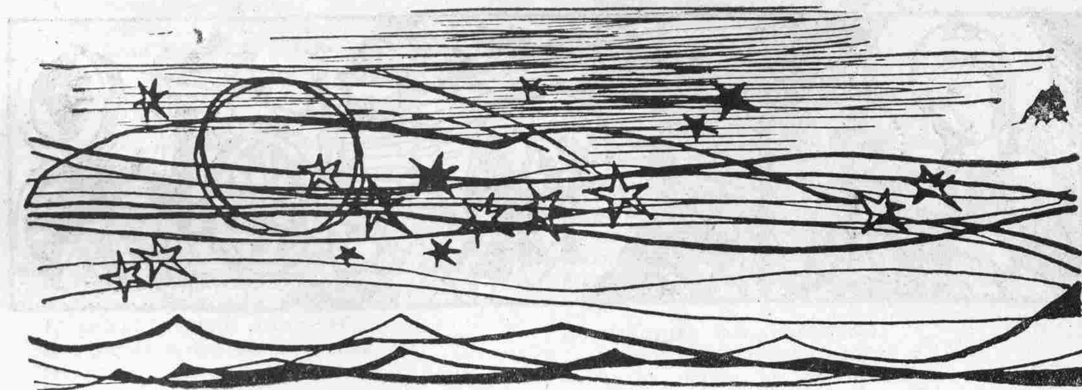
ТАНИНА ГОРА

Предание в таежной глухомани
Хранили совы, пролетая сонно.
Здесь в дымчатом предутреннем тумане
Гнездились звезды на вершинах сосен.
Взбиралось солнце на гору медведем
И оттого, что отливало медью,
Казалось глыбой, на рассвете вырытой,
Самой горою, наизнанку вывернутой.
Там,
в глубине,
под спелою брусникой,
Руда томилась столько поколений.
И потому предание возникло
У рыбаков таежных поселений.
Но срок всему приходит постепенно,
И безымянный имя обретает,
И имя то история читает,
Подняв его
Из пламени
Иль пепла...
На зов далекой северной земли
Пришли строители сквозь дебри вековые,
Кто за мечтой, кто за деньгою, но пришли,
Звериный след переступив впервые.
Вот ветка под рукою задрожала,
Росу роняя, словно капли пота,
На женщину, что под сосной рожала,
Кусала губы и шептала что-то.

Еще не начиналось здесь начало,
Еще палатки ветром не качало,
Еще не вспыхнул в окнах огонек,
Но девочка рождалась,
девочка кричала,
Татьяна,
Танечка,
Танек.
Комочек солнца знойного рассвета.
Как сам рассвет, порывисто дыша,
Она пришла, и хвойная планета
На первый крик девчонки-голыша
Вдруг потянулась ветвями из чащи,
Рекой, в рассвет втекающей вдали...

Стал колыбелью из-под хлеба ящик
Для маленькой разведчицы земли.
Пел ветер, за стеной шурша корою,
Ей белки приносили сказки в лапах.
А над разбуженной таежною горою
Оседлого жилья струился запах.
Тайгу теснил все дальше новый город.
Гремели взрывы, прочь гоня зверье.
И девочка не знала, что ту гору
Назвали люди именем ее.
И это было здорово придумано!
О как вы, люди, мудры и добры!
Пройдут года, и здесь родятся штурманы
И унесутся в звездные миры.

Двадцатый век — спираль крутая —
Нам жарко дышит в лица, пролетая.
И пусть еще зелеными юнцами
Идем на клич его —
в том наша правота.
Мы назовем своими именами
Земные безымянные места.



Иннокентий Новокрещеных

ЗВЕЗДЫ В ОКЕАНЕ
ИЛИ СЛОВО О ЯПОНСКОМ РЫБАКЕ

Я ощущал порывы моря,
я видел необъятность моря,
я слышал грозный голос моря,
я знал,
я знал жестокость моря!
И замечал я иногда,
как в море падала звезда.

Мне служит крепостью опорной
в морском просторе
Сахалин,
скалистый,
неприступный,
горный.
Гремит прибой...
Стою один...
Присела мгла над океаном.
Все небо —
черный звездный зонт.
И, точно ширмою,
туманом
и мглой задернут горизонт.
И там,
надсадно далеки,
дрожа, мерцают огоньки.
Огни... они в Японском море,
огни... они в Охотском море.
Огни — в проливе Лаперуза.
А за проливом,
знаю я,
(да и в рыбацком сердце грузом)
осталась в горестях семья.
От ветра ветхое жилище
скрипит и стонет с морем в тон.
Последний грош.
Выходит пища.
И входит беспокойство в дом.
Да в ночь и в ночь уходят дни...

А в море все дрожат огни.
Огни — рыбацкий ломтик хлеба,
Обмытый горечью нужды.
Нет! Те огни — не звезды неба,
а только искры от звезды.

Далек я от чужого горя
и не пойму: как до сих пор
не собрались все искры моря
в один пылающий костер?
В один...
чтоб пламя из тумана
и ночи вырвалось таким:
с победной силой океана,
с единым разумом людским.
Чтоб так же,
бурь и гроз не зная,
светил сердцам маяк земной,
как светит мне земля родная
звездой кремлевскою.
Одной!

Стою.
И боль и грусть какая-то...
Взгляд напрягаю сквозь туман.
Звезда сверкнула над Хоккайдо —
опять упала в океан,
скатилась с неба быстро-быстро,
разбилась о далекий плес,
рассыпалась не то на искры,
не то на чьи-то капли слез.



Г. Пакулов

ЦАРЬ—ПУШКА

Поэма

I

Лунька ноги с звонницы свесил,
Потянулся, поскреб в голове,
Пальцы в рот и — заливисто, весело
Свистом с крыши сорвал голубей.
У старушки на паперти
в страхе
Руки вскинулись в мелкий крест:
— Парень в вздувшейся красной
рубахе—
Не звонарь, бог прости меня,
бес!
— Ого-го! Не узнала. Вот ловко!
Лунька я. Что, небось заспала?
Намотав на ручищи веревки,
Стал раскачивать колокола.
А в небе-то синь какая!
Хоть рви на рубаху лоскут.
Серые галочьи стаи
Криком будили Москву.
И Москва просыпалась.
Усталую
Дрему гнал расползавшийся
слух:
— Пушку мастер отлил небывалую,
Этак более саженей двух.
— О такой не слыхали доселя!
Мужичок ткнул соседа в грудь:
— Слышь-ка, надо подводу зелья,
Чтоб разок из нее пальнуть!
— Филька, брось торговать
ватрушками,
А лоток вот сюда, под клеть.
Это ж, братцы, такая пушка-а...
— Все айда на Пушкарский,
глядеть!

2

— Фу-у, жарища у чертова горна!
И детина прильнул к бадье.
С губ срываясь, хрустальные зерна
Гасли в черной его бороде.
— Ну-у студена! Наутро охолонул...
Луня, глянь-ка, к нам толпами прут.
Над Москвою малиновым звоном
Колыхался тугой перегуд.
Чохов кудри рукою тронул,
Пальцем сдвинул ремень со лба.
— Ну, суди, Русь!
И ахала стоном
Подступившая к пушке толпа.
— Братцы, эва беда-то какая!
— Жми поближе!
— Ай, стрелит!?
— Не трусь!
— Сатана! Кто там жилится хаять?
Русь, она мастерица. Русь!
— Колдовство се!
— Без глуму, дьяче!
— Сам псалтырь на копыта сменил!
Подскочив, будто войлочный мячик,
Дьяк к Разбойному засеменил.
Вслед пустив ему ругань злую,
Сплюнул, шапку скрывая, кузнец.
— Чохов, дай я тебя поцелую,
Русь поклон бьет, утешил литец!
Бороды мяли заморские гости.
Дивились:
— В Руси, ан, искусники есть?!
И трогали жерло испуганно
тростью.
— Страшна, аки смерть, а очей
не отвесть.
Гудела толпа. Ржали кони,
Из рук вырывая уздцы.
Глядя из-под ладони,
Меж людом сновали истцы.
У подслуха волчья повадка —
Кормит чужая кровь.
Парень у каменной кладки
Крикнул, ломая бровь:
— Вот эта бы ловко сдунула
Хоромы бояр на дрова!
Под чью-то подмышку
просунула
Сплюснутый нос голова.
— Стрельцы! Государевы речи!
Истец двинул шапку на лоб
И голову спрятал в плечи.
— Ивашка Болотник, холоп,

Таит государю измену!..
Стой, квакша. Лик твой знаком!
Парень ярыгу об стену
тиснув,
Поддел сапогом.
— Подслух собачий!.. Сева,
Следы из Москвы умой.
По ней, по боярской сугреве,
Пальнем еще, братец мой!
Живей на Ордынку двигай,
Не то на дыбу к Луке...
Валялся пластом ярыга
С гусиным пером в кулаке.
А рядом седой и усталый
Тревожил сердца домрачей,
И Родина в песнях вставала
Из пепла, под скрежет мечей.
Шли деды в присохших повязках.
Сказитель тряхнул головой,
Поседевшей в сабельных лязгах.
— Потешу ужо плясовой.
Как на кружечном двору
государевом
Шкуру с питухов дерут
словом царевым.
Будут головы кататься
В поле дынями.
Землю грызть да оскаляться
ртами синими.
Чохов к певцу протолкался.
— Громче, дед. Душу затронь!
Под насупленной бровью
катался
Переливами синий огонь.
— Песня горькая — та же отрава.
Пой про волю нам. Верно, браты?
Пой, чтоб немцев с Руси —
за заставу!
Смотри, растопырили рты.
То ли будет! Лишатся покою.
Есть на что по Москве поглядеть.
Хороша?!
И, казалось, под умной рукою
Благодарно пропела медь.
— Хо-хо-хо! Перемерли со страху.
Бей ослопьем — не сдвинешь с мест!
Хохотал, и о грудь под рубахой
Гулко бухал нательный крест.
— Воевода идет из Приказа!
— Страшен, дьявол, пытает огнем!
— Душегуб, бог прости мя, зараза,
Кровь родителева на нем.
— А стрельцы, богомерзкие рожи.
Не подступишься — затолкут!
Брови сдвинув как можно строже,
Воевода поплыл на толпу.
Бердеши били в потные спины.
— Разойдись, люд, сдавай назад!
Что, оглох!?
И краснела глина,
В полотняный впечатавшись зад.
Воевода глянул на пушку,
Почесал вдруг вспотевшую грудь.
— Дьяче, ты в челобитной
Андрюшку
На кафтан приписать не забудь.
Смел, Андрейка!
— Тружусь, воевода.
— Чист ли сердцем, а на руку
скор.
Голова со стрельцы! От народа
Поотчисти-ка пушечный двор!
Чохов место выбрал повыше.
— Воевода, вели сказать?
— Говори.
И забегали мышами
В узких прорезях злые глаза.
Басом галок швырнуло под тучи:
— Ру-у-сь! Спасибо за праведный
суд.
Благодарность потомков лучшей
Будет памятью нам за труд.
В темноте что ни тропка — дорога!
Пятки стерли колючей стерней.
Милость ждали, как гостью,
от бога,
А сработали вот... пятерней!
Воевода не взвидел света.
— Чохов, вижу, молва права;
Ты не ходишь в церкви к обеду,
Хоть и крестишься на Покрова!
— Крест кладу мастерам колокольным.
Душу вдунули в мертвый металл.
О Руси плач их чистый.
— Довольно!
В Патриаршем приказе б не стал
Говорить богохульные речи.
— Я, боярин, там не бывал,
Не святой, не икона Предтечи.
Плотью грешен я!
— Что ты плетешь!?
Страшен божий суд в длани
царевой.
— Царь отмолит. А псарь!?
— На правеж
Захотелось, литец, договаривай?
Колыхнуло толпу басом зычным.
— Воевода, Андрея не трожь!
Мы к кузнечному делу свычны,
Но к кулачному бою тож!
— Это кто там? Стрельцы, хватай,
Волоки крикунов в Разбойный!
— Братцы! Что ж вы! Не выдавай,
Бей бердышников смертным боем!
Лунька саблю отвел воеводину,
Двинул в бок заголяшным ножом.
— Вот за дыбный хомут те,
уродина,
Бык, рудища-то хлещет вожжой!
— Эй, стрельцы, полони его, дьявола.
Воеводу никак решил!
— Други! Луньку схватили, малого.
— Бей их миром, ребята. Круши!
Толпа напирала и ахала.
Бурела от крови земля,
Как от пота рубаха пахаря.
— Бей его, сатану, по соплям!
Драка, людям пластая вороты,
Из Кремля перешла на Пасад,
Покружилась у стен Китай-города
И затихла, отхлынув назад.
Люди тупо чесали в темени
И, поддернув штаны рукой,
Затянули покрепче ремни.
— Ну, живее, айда на попой!
И в пропойных домах, где веками
Во хмелю расслюнявив рот,
Матерясь, били в грудь кулаками,
Проклиная боярский род.
Утром жонки сходились у лобного,
Долго выли, сморкаясь в подол.
Подвывая им тяжко и злобно,
Пес под плахой зализывал пол.

3

Солнышко, как на салазках,
Съехало за косогор.
Вспыхнул приснившейся сказкой
Девятиглавый собор.
Пров на собор покрестился
И вновь зачеканил легко.
Звон молотка разносился
Весело и далеко.
Чохов стоял у пушки.
Растроганно и тепло
Глядел на церквей макушки,
И по щекам текло.
— О Русь! Ты сильна и богата
Спорить с тобой не рискуй.
Ума у тебя — палата,
А немцев зовешь на Кукуй!
Аль силы своей не стало?
Нет, Родина, песня моя,
Ты кровью не раз подплывала,
Но побеждала в боях...
— Андрюша! Ты молишься, что ли?
— Молюсь. На народ наш молюсь.
Эх, Проша, дай-ка нам воли,
Я даже подумать боюсь,
Что сделали б люди!..
— Гляди-ка!!
Седой бороденкой тряся,
Тряпьем чуть прикрытый,
В веригах,
Единственным глазом кося,
Тащился к ним старец Афонька,
Сошедший с ума под кнутом.
Гнусавя, хихикал тихонько,
Беззубым шамкая ртом.
— Быть беде, быть беде,
Леший спит на бороде.
Жрал постом, драт кнутом.
В доме том, в доме том,
Где грели меня голого,
Где Луньке оттяпали голову.
— Луньке, сказал ты вроде бы?
Да что ты, смеешься, юродивый!?
— Кудри вьются на колу.
Пляшет тело на полу!
— Андрюшка, идут из Кукуя!
Вернись!
— Прогони их, не ждя!..
Шлепнулись в землю сухую
Первые капли дождя.
Потемнело. Ветер разбрасывал
Струи пригоршней. Весел и дик,
У собора под ливнем приплясывал
Одинокий юрод-старик.
Туча молнией подпоясалась,
Порет брюхо о шпили церквей.
Бьется в луже ливнем размазанный
Желтый свет из кабацких дверей.
Пробежал человек. Сапогами бухнул
в лужу
И выплеснул свет.
Кабатчик взмахнул руками:
— К лобному в ночь! По Москве!
Чохов вбежал под стены.
Псы, воя, умчались в овраг.
Вспыхнет в сполохах Блаженный
И с грохотом валится в мрак.
Брызнула искр позолота
С маковки до комля,
Как будто ударил кто-то
Кресалом о башню Кремля.
— Сынка-а! Вставай, надежда,
Уйдем. Ты ведь на ноги гож!!
По мокрой, в потеках, рогоже
Картечью нахлестывал дождь.
А ветер вцепился в бороду,
А темень плывет в глаза.
Хохочет над темным городом,
Зубы скаля, гроза.
Светало.
Вымытый ливнем
Город устало вздыхал.
Радуга яркими бивнями
Прорезал облака.
— Ну, Луня, прощай ненадолго.
Вернусь — отзвоню! А допрежь
Бежать мне пристало волком
Куда-нибудь в Родонеж.
Поникнул, уставясь в ноги,
И, громко с тобой говоря,
Зашлепал по грязной дороге,
По лужам, где мокла заря.
Дорогой шагал не новой,
А той, что с собой увела
Болотникова и Рублева
Из душного им угла.
Вела, куда вольница знала,
Где ветер ковыльный свежей,
Чтоб вспучилось да захлестало
Поволжье огнем мятежей.
Чтоб с рабской не ладя
долей,
Холоп, беспощаден и скор,
Поднялся с мечтою о воле,
Угрюмо крестясь на топор.



А. Соколова. Литовская девушка.





Линогравюра **Н. Протасова.** В красноярском порту.

Борис Лапин



Негативы хранятся вечно

Рассказ

1

В «Огоньке» я прочел следующее:

«Имя остается неизвестным.

Этот человек потерял память в результате контузии в декабре сорок первого года на Волховском фронте. Долгое время жизнь его была в опасности, однако врачи отстояли ее. Здоровье поправилось. Память же возвратить не удалось. Поскольку у раненого не было обнаружено никаких документов, имя его до сих пор остается неизвестным. В настоящее время он здоров и работает при госпитале, в котором долгие годы находился на излечении. В паспорте записан под условной фамилией Волхов, имя условное — Иван Иванович. Публикуя эту фотографию, Иван Иванович Волхов просит всех, кто узнает его,— родных или знакомых — сообщить по адресу...»

Забавно! Потерял человек память, и вот уже двадцать лет не знает, кто же он такой. Чего только не вытворяет с людьми война!

Я начал листать журнал дальше, пробежал что-то о футболе, что-то об охоте на котиков, сдерживая зевоту, попытался расшифровать так называемые изошутки. Но заметка о человеке, потерявшем память, не давала мне покоя, и я опять вернулся к ней. Только теперь я обратил внимание на небольшую фотографию, почему-то не замеченную прежде. На ней довольно отчетливо был изображен средних лет человек бравого вида, о котором язык не повернулся бы сказать, что многие годы он жил на волоске от смерти. У него был тонкий с горбинкой нос, живые маленькие глазки и родинка на левой щеке...

— Тю-тю-тю!— воскликнул я, отбросив журнал.— Да это же Владька Крепс!

Я долго и тщательно разглядывал фото. Сомнений быть не могло. Те же вечно озорные глазки, тот же длинный хрящеватый нос с горбинкой и родинка! Владька Крепс пропал без вести под Ленинградом. Зимой сорок первого его мать получила извещение.

Неужели Владька жив?

2

Владька Крепс был героем моего детства.

Мы жили на самой окраине городка. Наш большой двор выходил огородами на пойменные луга. С наших крыш виднелась река, широкая и быстрая. Переплыть ее мог один только Владька Крепс. Он уже заканчивал десятилетку, но компанию водил с нами, пацанами двора, и нам казалось, что нет для него большего удовольствия, чем верховодить во дворе.

У нас был огромный злющий пес Медведь. Всю свою сознательную жизнь он просидел на цепи, и от такого образа жизни у него развилась дикая ненависть к пацанам. Однажды в жаркое сухое лето Медведь сбесился. День и ночь он страшно выл, не узнавал хозяина и бросался на всех. К счастью, ему мешала цепь. Хозяин смотрел на него с жалостью и говорил нам:

— Ничего, ребятки, потерпите! Отписал я в город письмо свояку, чтоб ружье прислал. Вот ужо придет ружье — пристрелим мы его. Устроим ему расстрел через повешение.

Но то ли письмо на почте затерялось, то ли попросту никогда не существовало ни свояка, ни его ружья... Однажды Медведь сорвался с цепи и, хрипло рыча, бросился на меня. Я побежал, но бешеный пес в два прыжка догнал меня, и я до сих пор помню страшную пасть у самого моего лица, тянущуюся сосулькой грязную слюну и пару больших желтых клыков. Ребята постарше, бабы и даже сам хозяин, увидев, что Медведь сорвался, бросились врассыпную, попрятались, кто куда. Я остался один на один с Медведем. Он не кусал меня, но страшно рычал в лицо, и мне казалось, он только выжидает, чтобы поудобнее вцепиться мне в горло. И я как можно глубже втянул голову в плечи. Прошло очень много времени. Я уже понял, что больше минуты не продержусь, закричу, и тогда страшные клыки Медведя вопьются мне в шею. В этот момент и примчался Владька. Увидев нового врага, пес бросился на него. Они оба упали в траву...

Через несколько минут мы копали яму за огородами. Владька не стал ждать ружья от свояка. Он своими руками придушил взбесившегося пса. А потом всем нам долго ставили уколы.

Владька был неистощим на выдумки. Он организовывал все новые и новые необыкновенные приключения. То объявлял, что у нас во дворе ночью орудовал шпион, и мы должны были по едва заметным следам и приметам разоблачать врага. То мы сколачивали плоты и устраивали морской бой в протоке, гонялись за неведомыми пиратами и строили на острове тайную крепость — прибежище всей нашей компании и нашего необыкновенного капитана.

В городке почти у всех были свои садики с яблонями, смородиной, малиной, так что воровать яблоки у нас не было никакой нужды. Но с нашим двором граничил сад с высоченным забором, обнесенным поверху колючей проволокой. Эта «китайская стена», чрезвычайно странная для такого маленького городка, принадлежала угрюмому старику, которого мы прозвали «кулаком». Мы воровали у него яблоки из принципа.

Обычно, поймав нас на месте преступления, «кулацкая» дочка, ровесница нашего капитана, звала отца. «Кулак» прибегал весь красный от злости, подымал шум, грозился стрелять в нас солью из «духовки». Мы смеялись над ним. Мы дразнили его и кидали в «кулака» и его ябеду-дочку их же яблоками, вовсе нам не нужными. Они не понимали, что мы воруем у них яблоки из принципа.

Однажды «кулак» исполнил свою угрозу. Он пальнул из «духовки», которую мы считали игрушечной, в нашего Владьку. Владька взвыл и свалился с забора в крапиву. Все штаны его были пробиты. На спине и на заду выступили ржавые капельки крови.

— Это соль! — простонал Владька. — Отведите меня, ребята, к реке...

Он оперся на наши плечи, и мы почти отнесли его к протоке. Он залез в холодную воду и, сидя по горло в воде, два часа ждал, покуда размокнет соль. Он весь посинел, и его трясло от холода и боли. Но соль никак не растворялась. И тогда мы принесли коробок спичек, затачивали их бритвочкой и осторожно выколупывали кристаллики соли из спины и из зада нашего капитана. Он только скрипел зубами. Он мужественно перенес эту мучительную операцию.

Но зато и досталось же потом «кулацкому» семейству! Мы отомстили за кровь нашего капитана. Мы выследили, когда «кулацкая» дочка пошла купаться, и унесли у нее всю одежду, а сами замаскировались в кустах. Она вышла из воды и, наклонив голову, отжала волосы. Мы смотрели на нее из кустов. Она была стройная и красивая. Весь день просидела она на берегу, сжавшись в комочек, а мы ждали, потому что сразу же, как только она заплачет, должны были отдать ей одежду. Но она не заплакала. И когда уже стало темно и холодно, мы сжалились и послали ей одежду с соседской девчонкой.

Досталось и самому «кулаку». Куда бы он ни пошел, куда бы ни ступил, всюду под его шаркающими ногами, всюду под его слепошарыми глазами были натянуты невидимые веревки. Он падал сто раз в темноте и на свету, наедине и на виду у всех соседей. Он проклинал нас, и мы торжествовали. Мы поклялись, что он будет падать столько раз, сколько кристалликов соли мы вынули из тела нашего капитана. И мы, верно, сжили бы со света старика, если бы не Аленка.

Аленка, «кулацкая» дочка, сама пришла к нам во двор. Она нарядилась, как взрослая, в длинное белое платье и туфельки на каблучке. Мы сначала и не узнали ее. А узнав, грозной стеной двинулись ей навстречу. Но она не испугалась, хотя мы могли побить ее. Она молча взяла за руку нашего капитана и увела его за ворота. Весь вечер просидели они на скамейке у ворот, о чем-то тихо разговаривая, а назавтра мы получили приказ:

— Вот что, ребята. Мстить хватит. Больше никаких веревок. Поняли?

— Почему? — удивились мы. — Ведь он же кулак, ты сам говорил.

— Дурачье. Какой же он кулак? Всех кулаков давным-давно на север сослали. А он просто старый и нервный человек.

— Но ведь он стрелял в тебя!

— Дурачье. Не он же в наш сад полез, а мы в его. Поняли?

Мы ничего не поняли, но приказ выполнили. Аленка часто стала приходить к нам. По вечерам они с Владькой сидели на скамейке у наших ворот. Ее светлые кудряшки на закате казались медными. При ней Владька перестал нас замечать. И хотя днем он еще возился с нами, мы поняли, что теперь уже не мы больше всего интересуем капитана. Аленка была красивая, она всем нам очень нравилась, и мы ничего не имели против нее.

В первые же дни войны Владьку Крепса забрали на фронт. Мы так и не успели достроить новую крепость на острове и многих других важных дел не успели сделать. Нам было очень обидно, что его забрали от нас.

Мы хотели проводить Владьку до станции, но он сказал строго:

— Вот что, ребята. Провожать меня не смейте. Попрощаемся здесь. Поняли? — Он пожал нам всем руки, надел рюкзак и, глянув на часы, сказал: — Пошли, мама, пора. — И они ушли.

Мы впервые не выполнили приказ. Мы помчались на станцию окольными путями и были на месте еще до прихода Владьки. Мы поняли, почему он не разрешил нам идти на станцию: его провожала Аленка. Он садился в вагон и весело махал кепкой, но его узкие, всегда озорные глаза не смеялись. Аленка плакала. Мать утешала Аленку.

Мы не обиделись на нашего капитана. Мы понимали: так было нужно...

И вот теперь я держу номер «Огонька» и в сотый раз вглядываюсь в знакомые черты. Неужели и вправду это Владька Крепс? Неужели он жив?

Как же убедиться?

Как убедиться, что это действительно он, прежде чем написать в Ленинград?

Когда-то у меня была фотокарточка: Владька сидит в центре нашей компании пацанов. Карточка давно потеряна. Мать Владьки умерла. Родных у него не было. Аленка? Аленка давно вышла замуж. Где она теперь? Да и едва ли помнит она нашего капитана лучше, чем я. Вся компания растерялась по белу свету.

Как же доказать, что Иван Иванович Волхов — Владька Крепс? Как доказать?

Опять картины детства поплыли в памяти — одна за другой, одна за другой. Но как же доказать?..

В воскресный день мы праздновали окончание строительства самой первой крепости на острове. Потом решили в память о столь важном событии сфотографироваться. Мы шли по пыльным улочкам к центру городка, где под раскидистыми тополями блестела стеклянная крыша фотографии. Это заведение всегда привлекало нас. Там были выставлены карточки красавиц и моряков. Там стоял огромный ящик — аппарат на треноге, и фотограф, низенький сгорбленный старичок, колдовал возле него. Пышная, чуть с проседью шевелюра старичка была прикрыта соломенной китайской шапочкой, похожей на суповую миску. Шапочка готова была вот-вот развалиться от старости прямо на голове. Рассаживая нас, старичок сыпал странные слова:

— Бонжур, месье. Ля бемоль! Аллегро, аллегро. Бонжур!

— Что он говорил? — спросили мы шепотом у Владьки, когда фотограф вышел в другую комнату.

— Разные иностранные слова. Очень ученый старик, по всему видно. Поняли? То-то!

Старик еще немного поколдовал у своего ящика, потом, накинув на голову черную ткань, поглядел на нас через аппарат, выдвинул скрипучую крышку кассеты, жестом волшебника снял с объектива колпачок и, медленно отсчитав: «Ейн, цвей, дрей!» — водрузил колпачок на прежнее место.

В углу фотографии стоял огромный старинный сундук, перетянутый узорчатыми медными полосками. На его замке играло солнце.

— А это что? — спросил один из нашей компании.

— Это негативы, месье, — прошептал старик таинственно. — Десять тысяч негативов. Десять тысяч человеческих судеб. Десять тысяч тайн, потому что каждый человек — тайна...

Выйдя из фотографии, мы увидели, что у входа стоят чрезвычайно модно одетые молодые мужчина и женщина. Женщина кокетливо помахивала веером, и оба смеялись, читая вывеску.

Вывеска у фотографии действительно была необычная. «ФОТОГРАФИЯ» — было написано сверху не очень крупно. А ниже, огромными буквами: «НЕГАТИВЫ ХРАНЯТСЯ ВЕЧНО». Мы не видели в этих словах ничего смешного. Наоборот, они нравились

нам своей вызывающей гордостью. Вот ведь как: сам я стар и едва ли долго проживу, фотография развалится не сегодня — завтра, очень уж она ветхая да покосившаяся, и вы все, кто фотографируется, тоже долго не протянете. А негативы будут храниться вечно. Вот вам!

Мы восхищались вывеской. А эти двое модников, приехавших в наш город, наверное, из самой Москвы или даже из Ленинграда, смеялись.

— Образчик провинциальной рекламы!— сказал мужчина брезгливо.

— Нет!— игриво воскликнула женщина, толкнув своего спутника локотком.— Это образчик самоуверенности. «Негативы хранятся вечно» — а сам уже одной ногой в могиле стоит!

И они, посмеиваясь, двинулись к гастроному, что стоял рядом.

— Дураки,— сказали мы.

— Пошляки,— поправил нас Владька...

А может, негатив той нашей фотографии сохранился? Может, это не только вывеска? Каких чудес не бывает на свете!

3

Знакомые и незнакомые улицы. Знакомые и незнакомые дома. Здесь на дороге лежала пыль. Теперь асфальт и цветы. Постукивая колесами, бежит трамвай. Здесь прошло мое детство. Отсюда уходил на войну Владька Крепс.

Вот они, раскидистые тополя. Вот оно, двухэтажное здание гастронома. Чуть дальше стояла вросшая в землю хибарка с застекленной крышей. Где же она?

Ее нет. Двухэтажный гастроном кажется крохотным среди больших зданий. А там, где была фотография,— сквер. Аккуратно подстриженные кустики акации, и цветы, цветы...

Что ж, последняя надежда растаяла. Неужели так и не удастся доказать, что Владька Крепс жив?

Я поворачиваю назад. Возле гастронома опрятная старушка продает сирень. Может, она знает что-нибудь о старом фотографе? Завязывается разговор...

Да, городок изменился, не узнать. Наряднее стал и моложе. А раньше все же лучше было, больнее. Машин теперь развелось — улицу не перейдешь. Помнит ли она фотографию, что стояла здесь? Еще бы! Она и фотографа помнит. Чудак-старик. А он еще жив. Семениха его приютила. Двоюродным братцем ей приходится. Ну как же! Жив, жив старик, хотя и плох...

Дородная Семениха отводит меня в тесную полутемную комнатку. В сером сумраке лежит на кровати дряхлый скрюченный старичок. В чем только дух держится — желтый, прозрачный, как воск, и голова трясется мелко-мелко. Сдал старик. А всего-то двадцать лет прошло.

Он долго не может понять, чего от него хотят. А когда понимает, перестает трястись, и в его отцветших глазах появляется блеск.

— Негатив?— тихо спрашивает он.— Вам нужен старый негатив? Пожалуйста! Негативы хранятся вечно!

Он говорит это с гордостью, и у меня перехватывает дыхание. Ай да старик! Ай да фотограф! Ведь не ради красного словца вывеску повесил! Люблю таких людей, до конца верных своему слову. И своему делу.

Старик извлекает из кармана носовой платок, бережно снимает с головы едва живую шапочку-миску и долго трет совершенно лысую голову. Потом, улыбаясь, подмигивает мне, как старому знакомому, и говорит:

— Негативы? Бонжур, месье! Ля бемоль!

Мы идем в сарай. Он суетливо раскидывает рухлядь, и под ворохом пропыленных тряпиц обнаруживается большой старинный сундук, перетянутый узорчатыми медными полосками. Когда-то медь играла на солнце. Теперь она стала зеленой.

— Десять тысяч негативов, — бормочет старик.— Десять тысяч судеб. Десять тысяч загадок...— Он вздыхает:— Какой год, месье?

— Сорок первый.

— Сорок первый? Война?

Я молча опускаю голову. Он открывает сундук, мелодично звенит замок, и я вижу великолепно сохранившийся архив старых негативов, разложенных в пачки по годам и по фамилиям.

— Фамилия, месье?

— Крепс!— говорю я.

Прежде чем достать негатив, старик садится на край сундука и, держась за его края, шепчет тихо-тихо:

— Всю жизнь думал, что мои негативы будут нужны людям. Но вот уже двадцать лет — и хоть бы один человек! Хоть бы один... Вы первый. Расскажите! Прошу вас, расскажите, зачем нужен вам негатив.

Я коротко рассказываю о заметке в «Огоньке», о том, кем был для меня Владька Крепс, и о том, что мне нужно доказательство. Он слушает с почтением, склонив голову на бок. Подавая маленькую темную пластинку размером девять на двенадцать — ту самую, убеждаюсь я, взглянув на свет, — он просит, почти умоляет:

— Если все совпадет... напишите мне. Гоголевская, одиннадцать, Семеновой Марье Константиновне для брата. Очень прошу. Если все совпадет... И я умру спокойно. Буду знать... что прожил не зря... если только все совпадет. Напишете?

Он вытирает глаза. Я обещаю написать.

И вот я снова раскрываю журнал. Рядом лежит снимок — вся наша компания пацанов, а в середине наш капитан, наш Владька Крепс, герой моего детства.

Я сравниваю оба портрета. Узкие смешливые глаза, тонкий хрящеватый нос с горбинкой. Кажется даже, что огоньковый Владька Крепс не очень-то и постарел. Да, тогда ему было восемнадцать, теперь тридцать восемь. Сходство полное. А родинка? Почему в журнале родинка на левой щеке, а на снимке — на правой? Э, конечно же, у Владьки родинка была справа. Точно, справа! Значит...

Долго смотрю я на обе фотографии и все больше убеждаюсь, что Иван Иванович Волхов и Владька Крепс — совсем разные люди. Потом бросаю «Огонек» на полку и ложусь спать. Но мне не спится, никак не спится. Чего-то я еще не сделал.

Я встаю и иду на почту. Беру открытку, пишу всего несколько слов: «Спасибо Вам! Все совпало. Владька Крепс найден. Это он. Спасибо Вам от нас обоих за то, что Вы такой человек». И подписываю адрес: «Гоголевская, 11, Семеновой Марье Константиновне для брата».

Я знаю, Владька Крепс поступил бы именно так. Здорово сказал он тогда вслед столичным модникам:

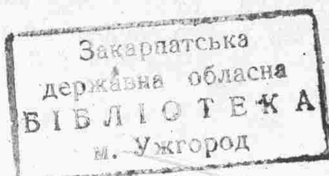
— Пошляки!

Владька Крепс любил людей. Он погиб в сорок первом под Ленинградом.

Я опускаю открытку в ящик.

4

Через месяц она вернулась назад. На ней было написано химическим карандашом всего два слова: «Адресат выбыл».



Евгений Суворов

ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ

Рассказ

По утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве, на межах была такая сильная, что до нее было боязно дотронуться, Забанка и Мойган, мокрые, по-хозяйски, только немножко пугливо, прошмыгивали в сенях и скрывались за лестницей; каждый с мертвой птицей в зубах.

Я просыпался всех раньше и бежал смотреть. Забанка и Мойган были черные, ни одного из них я не мог поднять от пола. Они всегда встречали меня молча и покорно отдавали самую большую добычу, заранее зная, что мне она не нужна и что я ее скоро отдам.

Однажды Мойган с охоты не пришел. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а еще крепче схватил, сверкнул в темноте зелеными глазами и вылетел из сеней, только хвост, большой, как у лисы, мелькнул над порогом.

Я сразу догадался, что с Мойганом что-то случилось. Но почему так рассердился Забанка?

Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, промочил штаны, а Забанки нигде не было.

И до того скучно у нас стало, что бабка сказала:

— И кому помешали... Загрызут теперь мыши.

Дед отбросил недоплетенную корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня.

— Если, крапивник ты эдакий, не приведешь к вечеру Забанку, выгоню, будешь ночевать за пряслом.

Забанку дед любил больше, чем Мойгана. Забанка никогда ничего не трогал. А Мойган даже в шкап залезал, под низ. Там он разгибался — гарлачи, кринки опрокидывались, и молоко выливалось. Если Мойгана заставали на месте, он никуда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал наказания. Но его никто не трогал, и он надолго переставал проказничать.

Забанка не приходил. Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. Я очень жалел Забанку и Мойгана и не трогал перья; и только ненадолго брал самые разноцветные, водил ими по своим щекам — перья щекотали, и я немного смеялся. Тогда дверь открывалась, сначала из нее показывалась длинная, похожая на осоку борода, а затем сморщенный замусоленный рукав. Дед подкладывал под дверь чурбак, глаза его в темноте поблескивали так же, как в тот раз у Забанки. «Ты на что взял?» — слышал я уже в который раз. — Положи перо».

— Почему не в яслях? — допытывался дед.

Я пожимал плечами, глядел на деда и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про перья и скажет примерно так: «А ну, ответь, к Широкой пади, где лес-медуница, как пойдешь — по солнцу или против солнца?» Дед уже два раза водил меня на это место. Он говорил, что, кроме него да придавленного в прошлом году лесиной старого Тороха, никто не знает леса-медуницы. Мы до обеда плутали по кочкарнику, несколько раз переходили через упавшие деревья речку Инку, шли где-то вдоль Пастуховой горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и словно налитых молоком высоких кустов волчьих ягод. «Не трогай, — заранее говорил дед, — отрава». Он делал еще шага три, протягивая руку, застывал, и мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос из-под земли: «Вот оно, колдовское царство...»

Я слышал от деда, что если побудет здесь плохой человек, срубит или сломает дерево, то роса-медуница не придет больше, а лес за-

сохнет. И я осторожнее пригибал к себе ветви...

Дед молчал. Он ни о чем так и не спросил, нисколько не сердился, а только сказал:

— Не трогай перья. Пошли в лес, лоза кончилась.

Мы горевали все лето, что пропали Забанка и Мойган. Бабка говорила, что надо взять другого, но дед тогда начинал кричать:

— Подождем! Мойган, может, и нет, а Забанка придет.

Как он угадал, но только все так и вышло. Под осень мы с Васькой Манаком после дождя собирали за мостом дикий лук и увидели: кто-то так и вышагивает по Второй дороге, что возле старой дегтярни. «Забанка!» — чуть не закричал я, присел в кочках и погрозил Манаку, чтобы он сидел тише.

Вот они, огороды, а Забанка шел долго-предолго. Мы с Манаком крались подальше. Ну так и есть — Забанка! — он свернул прямо по нашей тропинке к бане и быстро побежал по огороду. Манак и я тоже припустили. Забанка оглянулся, распушил хвост и в один прыжок очутился в приамбарке. Мы окружили Забанку, я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Вдвоем с Манаком мы чуть несли Забанку. Он стал тяжелее и вроде одичал. Только пустили в избу — он кинулся к окну, спрыгнул на середину пола и стал подкрадываться к столу. Что такое — на столе, кроме черемши, ничего не было... Забанка схватил пучок и спрятался. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитое урчание. Дед налил в большую чашку молока. Видно, отвык или боялся. Тогда дед пододвинул чашку поближе. Забанка обнюхивал чашку, фыркал, потом шерсть на нем поднялась дыбом, и он стал пить. Дед уже опорожнил гарлач, а в чашке снова было пусто. «Старая, — кивнул он, — подай-ка вон то, утрешнее». Забанка хотел бросить пить, но неохотно лакнул языком раз, другой, внимательно, и мне показалось, мокрыми глазами посмотрел на всех нас и больше на деда, и мы опять услышали как будто редкое пожуркивание ручейка. «Куда ему столько», — раскрылись глаза у Манака. «Не жалей, — суетился дед, — пускай пьет».

И уж как мы относились к Забанке, а все равно, когда не зацвел еще багульник и за мостом через всю стлань стояла невысохшая от весны лыва, Забанка ушел.

Каждый год так было. Только к осени возвращался Забанка. Если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что Забанку поймал филин. Манак с бабкой думали, что Забанка остался на зиму в норе барсука или прогнал белку. Дед помалкивал.

Той же осенью к нам приехала тетя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплотика чемодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони и долго подносила к губам. С криком «Тетя Гаша приехала!» я выбежал из избы. «Тетя Гаша, тетя Гаша», — приплясывал я, ожидая леденцов.

— Медвежо-о-нок, — смеялась она, расставляя руки. — На Филиппихину елку смотрел и рос?! Только меня теперь не Гаша зовут, а Галина. — И тут же в моем кармане очутилась целая горсть леденцов.

Я все время забывал новое Агашино имя, и тогда она переставала смеяться. Тетя долго говорила с дедом и бабкой, посматривала на меня и с чем-то не соглашалась. «Не отдам, — сердился дед. — Школа и у нас под боком». Но потом сдался, бабка поплакала.

Через полчаса я побежал открывать большие ворота.

— Что там — справлюсь, — ворчливо сказал дед, и мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на один осевший створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, бороздит землю точь-в-точь как хромая нога у немого инвалида Гошки. Дед подвел в поводе мотавшего шеей с белой челкой жеребчика к самому крыльцу.

Вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке выехали с тетей из ограды, дед и бабка хотели еще раз подать нам руку, как я вспомнил, что не простился с Забанкой. Я выскочил из ходка, бегом в избу, манил, все облазил — нет Забанки. Побежал в приамбарок — тоже нет. И под сараем не было. Наверно, к бане ушел, он всегда сидит там возле черемухового куста, и если и не ловит птиц, то любит подсматривать за ними.

Забанка как сквозь землю провалился. Я звал. Меня уже потеряли, и вниз, к бане, шли дед с тетей. Я не мог понять, о чем они или спорили, или еще что, но дед почему-то все размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тетя и с недоверием и с недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону.

Я сидел возле огурцовой гряды и плакал.

Тетя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот, и он нисколько не хуже, а лучше, потому что никуда не уходит.

До станции ехали мы весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях, старых колеях и ямках, и нет-нет да нас с тетей об-

давало ржавой водой, скрытой густым трилистником и ряской. Показывались из-за «колен» и поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроежки с тоненькими шляпками, синюшки, разнаряженные, с красными щеками мухоморы, а через них, мне казалось, прыгал и прыгал Забанка...

Запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, на рябой от грязи полуторке я добирался в нашу деревню. После города дома ее показались мне маленькими, а дедов — совсем покосился. Ворот, высоких, давно-давно старых, на которых, прибитые гвоздями, держались кружочки, солнца и полумесяцы, уже не было. Их заменил низкий заплотник с отполированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддался ни жаркому лету, ни жгучим холодам, ни дождям. Крепкие бревна его все так же отливали красноватой медью, дранье было целым, и только лиственничная кора, сберегавшая его, покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши застывшими лохмотьями.

Дед так и не расставался с корзинами и коробами. Он бросил на лавку только что принесенную из лесу лозу, заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, что со мной делать. Он говорил и говорил и вдруг осекся, вроде бы недовольный, сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Я растерялся. Выручила бабка.

— Ты про Забанку спроси...

Мне было двадцать три. Я едва вспомнил: смешным показалось спрашивать про Забанку, да и нет его, наверно, давно. Дед мог обидеться, и я послушался бабку.

— А что, дед, Забанка наш тогда так и не вернулся?

Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, взгляд его потеплел.

— Забанка... Не будет больше... Один Забанка... Э-э, браток, мало ли вот котов, а он не такой. Обойди всю сторону — и не будет, нет, не найдешь.

Забанка, оказывается, был жив-здоров. И даже совсем старый, отяжелевший, не изменил себе. Только отшумит за мостом талая вода, мимо бани, через то место, где когда-то была старая дегтярная, уходил в тайгу. Вот и на этот раз что-то задержался, и дед затосковал. И еще что-то другое мучило деда, но он молчал, а затаившуюся в глазах горечь скрыть не мог. Дед посидел-посидел, повернул ко мне голову и спросил:

— Лес-медуницу помнишь?

— Ага.

— Ну-ну...

— А сходим, дед, в этот лес?

Дед расчесал бороду и будто самому себе сказал:

— Дойдет солнце — от жары деться негде. В самый раз идти.

По лесу дед показывал, где какое дерево молния сбила, а какое срублено.

— Э-э, мал был, не упомнишь: вот же, рядом, голубицу с тобой брали. А переход не знаешь? Брусница там была-а... по-над берегом. А найди. Который год уже будто пал прошел. А бывало, и пал пройдет, а смороду да хоть что, — пригоршнями греби...

Еще давно с дедом мы едва продирались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину располосуешь. А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропинкой береза да спиленный кондач, и над самой Инкой забелела длинная поленница дров.

Дед сердито мотнул рукой.

— Герасименок, лесу ему не хватило... Коршук и только, — распекался дед. — До заимки руби — не вырубишь, так сюда залез, волчиные глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и все...

Дед больше не мог говорить и молчал, и лишь, спотыкаясь на свежих пеньках, на корягах, готов был плюнуть, но только и мог, что обзывать кого-то коршуками и вороньем.

Вот и лес-медуница. Дед остановился возле поломанного изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку. Дед растерянно поглядел на меня, опустился на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом, одними губами, выговорил:

— Иди-иди. Смотри, я не пойду.

От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, еще давно вырубил молодой лес на частокол и жерди; кому-то понадобились и деревья потолще — и половина из них была подрублена. Росы-медуницы нигде не было...

Я вернулся к деду, сел на одну колодину. Дед встрепенулся, подсел ближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:

— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — тут Забанка ходит... Только раз видел — годов пять тому будет; молоньей залетел на ту вон лесину. И чего

это такое: в доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь: инженер к нам, хлюст раскакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая затевается... Камень бы вроде нашли. А по мне век бы его не было. И что вытворяют: до Мильгитуя порубку... А такого красавца-строевика и к Загорью не будет. Лес-то новый, не вошел в силу. Вырубят — и помру, — тихо сказал дед. — А инженера-прихвостня... в болоте... Вот те крест, не забоюсь. Натерпелся коршуков, хоть одного...

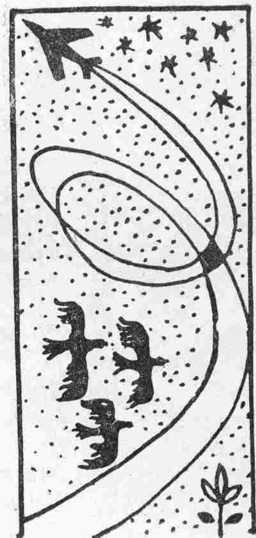
Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я в другую. Мне стало грустно, старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в клюквенном болоте.

Юлий Файбышенко

ТОЛСТОЙ

Кто графом звал его,
тот сути не постиг.
В нем титул чужд,
как плющ в кедровой кроне.
Он был мужик
по плоти и кости,
По медленно-тугому жженью крови.
Зло,
по-раскольничьи не убедим,
по-скоморошьи
въедливо юродлив,
Аристократ,
дни празднеств и беды
встречал невыделяемо в народе.
Но взглядывавших
на его утиный,
Крестьянский, грозный, неподдельный нос
Опутывал изящной паутиной
Версальский
победительный прононс.
В нем сжились
изб бревенчатые речи
С чужим акцентом
штилей над Невой.

Страна,
где все всему противоречит!
Россия, ты!
Ты создала его.
Ты для бродяжества
его разула,
На ощупь глухоманей поманив,
Навеки сплавив бешенства разгула
В нем
с бешенством
отшельничьих молитв.
Он добрым назван,
был ли добр он?
Он думал про людей, добро и труд,
Как раненый,
который не подобран
и понимает, что не подберут.
Он думал о себе.
Но и поныне
Мне дороги в нем
мысли маята,
Его неукротимая гордыня
И рушащая троны доброта.



СПИРАЛЬ

Я знаю:
жизнь идет по спирали,
раскручивающейся с каждым днем.
Одежды,
которые нас запирали
в тюрьму из материи,
мы рвем.
Разве давно,
живым заселя
лесов и болот
зеленую шерсть свою,
младенцем
осознавала себя
земля,
ощупываясь
пальцами путешествий.
Финикийцы,
карфагеняне,
греки
обрыскивали горы и реки.
На облачных парусах
крыли
мили всклокоченных волн,
брызг.
Завидуя птицам,
на кожаных крыльях
с арок акрополей —
вниз!
Вдрызг!
Шли на веслах
без карт и штурманов
Колумбы
к материкам неизведанным.
И это было первыми штурмами
всегда космически-
неведомого.
Спираль раскручивалась.
На дно
Батискафы падали.
В Кобе и Гжатске
фыркали первые Рено,
взлетали
братья Райт
и Можайский.
Амплитуда наших
и знаний и рук
шаталась от однодневности к вечности.
Шире круг,
Выше круг.
Спираль развития человечества.
Войны.
Пожары.
«Стройся!
Пли!»
Великих Ваяний тлен.
Но спутник взошел:
Гагарин и Глен
над голубым серебром
земли.
Спираль раскручивалась.
Каждый виток —
взрыв извилин
в нашем мозгу:
неслыханный звук,
неизвестный цветок,
невиданная яркость —
мазку.
Спираль раскручивалась.
Каждый виток,
Небоскреб чертежей,
наводнение смет,
Сгоревшая зелень,
хруст винтов,
людская —
неизмеримая — смерть.
Но смирительную рубашку Галактики
диафрагма земли распирает.
В небо, земля!
Стратосфер халатики
рви!
Раскручивайся, спираль!

Людмила Бендер

БАЙКАЛЬСКАЯ УХА

Устал от речей.
Голос чуть простужен,
Встречают восторгами
и стихами.
А люди зовут —
людям он нужен.
Но нет.
Пощадили.
Фидель отдыхает.
Люди думают:
он в резиденции,
Революции труженик
неутомимый.
А он,
не успев
с дремотой разделаться,
обратно,
по той же дороге,
мимо
тех же домов,
мимо
тех же плакатов,
на которых:
— Вива Фидель!
— Вива Куба! —
На Байкал
со спиннингом
и палаткой —
в прозрачность воды
пересохшие губы.
Рыбы много:
В уху вали-ка!
Сын Гаваны овеян
таежным дымом.
В каждом герое,
в каждом великом
чуть-чуть мальчишества
необходимо!

ЯЩИК

Неделя уроков,
работы настоящей.
Слабеют за неделю голосовые
связки.
И только в воскресенье
Я открываю ящик,
стихов и репродукций
раскладываю связки.
Томик Есенина,
томик Элюара,
«Луна и грош» Моэма,
Гоген, Матисс, Моне.
Переживаю снова
споры в кулуарах,
те самые, которые
надоедали
мне.
Неделя хождений
к поездам
по шпалам.
(За молоком и хлебом
по линиям
блестящим).
И только в воскресенье,
скользя по листьям палым,
в лесу открою снова
все тот же ящик:
мелодии Есенина,
ритм Элюара,
краски Матисса,
воздух Моне.
И мне опять
не хочется
спорить
в кулуарах.
Ведь сами
горы, травы
идут ко мне.



Сергей Иоффе

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ОСЕНЬЮ

Мы с женщинами осенью прощаемся,
Когда земля насыщена дождями.
Они уходят и не возвращаются,
Шурша своими шумными плащами.
К уюту и к оседлости бегут они,
Им хочется тепла и тишины...
Что ж — пусть бегут.
Попутного, попутного
Мы пожелать им осенью должны.
И не жалеть.
И тут же позабыть о них,
Чтоб даже никогда не снились нам.
И, усмехнувшись:
«Тоже мне — событие».—
Уйти навстречу бурям и ветрам.
Где белый снег стал от мороза синим,
В зловещей пляске зимней кутерьмы
Найдем неповторимых, вьюжных, сильных,
Любимых женщин
там отыщем мы.
Ведь есть они!
Я свято верю: есть они
Не в легком мае —
в трудном декабре.
Они без всяких «может быть» и «если»
Нас уведут к неведомой заре.
Они пройдут сквозь непогодь, метели,
Пройдут, где лед,
пройдут, где ломкий наст...
И если б мы вернуться захотели,
Они б обратно не пустили нас!
...А лето будет.
Лето нам завещано.
О, как они раскроются тогда
И как любить нас будут
эти женщины,
Прошедшие сквозь снежные года!

Б. Новгородов

Про Толю, голубиное перо и самую обыкновенную сосновую ветку

Рассказ-очерк

...Ботинки лежали, высунув свои красные языки, как гончие псы после долгой погони. А Толик прыгал около них на одной ноге и махал пальцем, только что подвернувшимся под молоток.

Не простое это дело — самому подбивать подметки. Особенно те, которые отлетают после сильнейших пенальти.

— Ладно, не мучайся, — говорит Толина мама. — Завтра пойдешь в школу и занесешь в мастерскую.

— Нет, я сам.

...В глазах — совсем не детская озабоченность.

— В чем дело, Толя?

— Вовка Архипов голубей продает. По сорок копеек пара. А у меня только... — Конец фразы заменяется протяжным вздохом.

— А очень хочется?

— Не-е-ет, не очень.

— Тогда чего же тревожиться?

— Так ведь он их уже не кормит!

...На краешек трубы сел воробей с червяком в клюве. Сел, огляделся, не подсматривает ли кто, и молчком — юрк! за оконный карниз, в гнездышко-потаенку. Через минуту выпорхнул оттуда, след на карнизе оставил, спел свое «чвить-тюить» и полетел куда-то по воробьиным делам. А Толя уж тут как тут. Подпрыгнул, ухватился за выступ, подтянулся, изогнувшись — и вот уже его глаза на уровне карниза. А за ним — сплошной, с желтыми околышками по бокам, разинутый клюв трех подернутых голубоватым пухом птенцов.

Медленно-медленно отвисает мальчишечья губа, а в глазах — восхищение от всех этих ежеминутно происходящих событий, открытий, обновлений и удивлений.

Таков в трех словах Толя Горохов, четвероклассник 64-й школы, мой сосед по дому — одиннадцатилетний человек, о котором собираюсь сейчас рассказать.

Мы живем с ним в поселке Южном, в том самом поселке, где размещена подстанция первая, принимающая ток с Иркутской ГЭС. Толя из числа тех, кто не любит занимать себя пустым делом. Конечно, можно воткнуть за ремешок фуражки голубиное перо, а на грудь, вместо плавников акулы, нацепить ожерелье из бельевых прищепок и стать вождем кровожадного племени хиваро, можно, засыпая, ухватиться правой рукой за большой палец левой ноги и стараться проснуться в этой же позе, можно, наконец, проверяя си-

лу духа, хлебнуть «нечаянно» только что вскипяченной воды, а потом два дня доставать изо рта белые лепестки обваренной кожицы... Все это можно. Но есть вещи и поважнее. Не интересней, а именно поважней. (Конечно, если дело сочетает в себе и то и другое, это еще лучше).

Я часто спрашиваю себя: почему Толик взрослеет быстрее, чем его сверстники? (Однажды я видел, как Толю обидели. И не слезинки-резинки, а всего две настоящие мужские слезины скатились, набухнув от незаслуженной обиды). Может быть, дело в том, что у него нет папы. Вообще-то папа есть, но он... где-то. Поэтому и сам Толя говорит о нем в прошедшем времени:

— Вот когда у меня был папа... — и почти всегда при этом что-то очень сложное рождается в глубине мальчишеских глаз.

— А если бы он вернулся? — спросил я его в минуту откровенья.

Толя молчал, видимо, ожидая, когда пройдут встречные — отец и сын с нашего поселка.

— Не сгибайся! Держи голову выше! — поучал старший младшего.

И ровно через секунду.

— Не запинайся! Смотри под ноги!

— Только пусть... не такой, — тихо ответил Толя на мой вопрос.

Помню немного неловкое, немного суровое мужское молчание, которым закончился этот разговор. Разве можно долго хмуриться, когда рядом такой хороший друг — лето.

Лето! Воскресными утрами меня будят короткие, ласковые призывы:

— Гули-гули-гули-гули...

Это Толя кормит голубей и одновременно подает условленный сигнал. И вот, размахивая полотенцем, мы несемся к озеру. Земляничный лужок с зеленосарафанной березкиной родней, ромашковая россыпь, наложенный на тетиву проводов высоковольтки наконечник гигантской стрелы, обрывистая дорожка и — ровно через пять минут — берег.

Горожане, которые через пару часов начнут плыть и плыть сюда на перегруженных речных трамвайчиках, еще только наполняют, наверное, свои авоськи и пляжные сумки. Поэтому мы здесь единственные и полновластные хозяева, и самые ровные солнечные лучи достаются только двоим. Искупавшись, успеваем насобирать по пригоршне плоских камешков и до боли в плече «напечь блинов». Озеро почти круглое, совсем как сковородка, и «печь блины» на нем одно удовольствие.

Вечером (если не уходим на целый день в Ерши) возвращаемся к озеру снова. Пароходики давно уже увезли разомлевших горожан на ту сторону Ангары.

Молча сидим, засучив штанины и свесив ноги в теплую темнеющую воду. Тишина. Слышно только, как на другом конце плюхается в воду ведро — видать, рыбаки готовятся варить уху. При воспоминании об этой чудесной еде озеро перестает быть сковородкой и превращается в огромную миску с душистым наваром, по которому нарастающей каплей жира плавает отражение луны.

Под берегом, там где живут три родника-близнеца, запуталась в скользских корнях темно-зеленая тина.

— Русалкины косы, — доверительно, почти на ухо, сообщает Толя и тихонько подсматривает: какое будет впечатление.

— Те самые, которыми она опутывает, — говорю я и чувствую на своей спине предательские мурашки. Толя не выдерживает первым и с мужественной неторопливостью попеременно вынимает из воды свои ноги. Но я ошибаюсь. Он быстро сбрасывает брючонки и прямо с обрывчика прыгает в черную, переплетенную воду. Сквозь загустевшую темень вижу его лицо. Счастливое лицо победившего страх.

Но, конечно, самые лучшие летние дни — в Ершах. Чего тут только не увидишь! Вот выполз погреться на мелководье залива серый, под цвет ила, осьминог — старый, низко отпиленный еще перед затоплением сосновый пень. Корни-щупальцы намертво держат блесны и крючки с обрывками капроновых нитей.

Ил лежит только у берега, дальше — песок. Мы бредем по пояс в воде к местечку, где, по рекомендации Сани Березина — ершихинского мальчишки, — можно за один час обыкновенной столовой вилкой добыть «во сколько!» ленивых, головастых «широк».

Вода прозрачная, как может быть прозрачна только одна байкальская морская вода. На ребристом дне играют солнечные блики, ломаются наши тени, и маленькими торпедами уходят вглубь спугнутые щурята. Эти самые щурята наводят нас на удачную мысль: приобрести к будущему лету пару масок и ласт. Тогда вместо вилки можно будет взять оружие посерьезней. Берегитесь, щуки!

А уж идут последние, прощальные гастроли лета. Похолодевший ветер — этот главный солист — высвистывает на гибком ивняке, кружит палым листом, сыплет березовое семя, топорщит нахохлившихся воробьев, сдувает с крутого ангарского наката радугу серебристого бисера...

И вот — зима. Бр-р-р! Холодно на улице

перемерзлым, мутным вечером. Под долгими затяжками стылого ветра потрескивают и окна, и березовые поленницы, и не выдержавший каленого морозца лежалый снег на тропинке. Холодно. Даже ворота свои петли перестудили, и те скрипят теперь с настуженной хрипотцой:

— Кр-р-ар-р...

Летела мимо ворона, села на брошенную деревянную опору, осмотрелась и, с трудом открыв застывший клюв, представилась:

— Кар-р-р...

А ворота ей тем же голосом: — Кр-р-ар-р... Ворона промолчала. То ли отвечать ниже своего вороньего достоинства сочла, то ли горло боялась простудить. Только снизу снова, но уже совсем человеческим голосом: — Кар-р-р...

Откуда было знать вороне, что это Толя подкараулил ее на своем замаскированном наблюдательном пункте?

Видеть и запоминать все, связанное с птицами, с лесной жизнью, — это, пожалуй, главная страсть парнишки. Мне кажется, что я видел, когда она родилась.

...Нас трое. Иван Егорович — лесник и мы. Толя знакомится с зимним лесом впервые. Мальчишечьи глазенки поспевают за всем. Вот они недоуменно взмахнули ресницами и уставились в снег, под ноги. Там — среди стрелок, петелек и крестиков лесных следов — розовая проталинка.

— Вишь, дело-то какое, — покашливая и почесывая подбородок, заобъяснял Егорович, — сорока, видать, пичужку нечаянно клюнула: зернышка не поделили. Ну да ничего — лесные доктора залечат...

Толя слушает так, что временами из его открытого рта даже парок перестает идти.

— А может, малокалиберкой кто баловался? — вставляю я.

Лесник бросает на меня осуждающий взгляд и в его растерянных, просящих поддержки глазах вижу упрек моей несообразительности: «Эх ты, недотепа, разве это не сразу было ясно? Я ведь только для него, для мальца, эту байку сочинил: пусть, мол, интерес к лесу воспитывается. Видишь, как навострился; аж забылся весь. А птица-то птицу даже невзначай никогда не обидит...»

С тех пор мы редкое воскресенье не ходим в лес.

— Может быть, лучше сыграем в шахматы? — говорю ему в такие дни.

— Нет-нет! — всегда искренне пугается Толя. — Сначала в лес, а вечером — в шахматы. Хорошо?

Ну как тут возразишь, если запястье его руки уже перетянуто ремешком компаса, в кармане — бутерброд и самая «совершенная» карта лесных следов?

Через двадцать-двадцать пять минут мы уже у крайних домиков четвертого поселка АнгарГЭСа, еще тридцать метров и... вот она, лесная дорога, лес. Правда, это еще не совсем лес, а скорее прелюдия к лесу, но и сам настоящий лес недалек. Первым и самым главным, заметным отовсюду ориентиром нам служит опора электропередачи, стоящая на самом гребне горы. Мы не теряем ее из виду...

Что мы делаем в лесу? Разглядываем краски зимнего дня, расцвеченного то студено-голубым, то серым от морозной пасмури, то выстуженным до белизны небом, снимаем петли, поставленные браконьерами на зайцев, допытываемся, почему на сосне снег всегда тяжелый и густой, а на березке — нежный и легкий, как смятое кружево, расшифровываем птичий натоп, разводим костер и превращаем кусок обыкновенной колбасы в необыкновенный шашлык, жалеем иркутян, теряющих время под серыми тополями, разгадываем «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Уставшие, пьем из Заячьего ключа воду, от которой уже через полминуты начинает ломить немеющие ладоши...

Заячий ключ... Мы не случайно окрестили его так в день первого знакомства с ним. ...Свежий заячий след уводил все дальше и дальше. Потом вдруг его пересекли и пошли вровень с ним когтистые отпечатки собачьих лап. (Очень хотелось думать, что это была именно собака. Однако на всякий случай малокалиберка перекочевывает под руку). Вскоре прыжки косого стали трехметровыми. Но преследователю все-таки легче: он шел по проторенной дорожке. И вот — через два-два с половиной километра — вытоптанная когтистыми лапами площадка, за которой заячьи следы обрывались... Что же — лесная беда? Похоже...

— А почему нет ни одной капельки крови? — вдруг как-то обрадованно спрашивает Толя. Пока ломаем голову над этой загадкой, он находит ключ, укрытый нависшими над ним снежными боками. И тут у Толи (молодец, мальчишка!) мелькает вторая догадка. Сразу проверяем ее. Так оно и есть! Метрах в пятнадцати по течению, там, где узкая полоска воды уходит в ледяной грот, кто-то, словно на костылях, проскакал по снегу... Мы представляем себе конвульсивный — изо всех сил — прыжок смышленого зайца в воду и от души смеемся над одураченной собакой, которая обалдело крутилась у ключа, тыкалась в снег горячим носом и ничего не могла понять...

От таких новостей лес становится еще роднее и нарядней. Выбарабанивает вечернюю зорьку дятел, надрываясь, наушничает сорока, и где-то облизывает свои заледенелые лапы лопоухий беженец. В дальних распадках мороз... А ковырни ногой снег — и неожиданно увидишь зеленые листья брусники с красными вкрапинами выдавленных временем и стужей ягод. Или пискнет под катанком зазевавшаяся полевка, или нет-нет да и покажет какой-нибудь обманувший осень гриб свое обмороженное ухо... Хорошо! И мы все бродим и бродим по завороженному зимнему лесу, бороздим снег, который здесь, в лесу, всегда такой ослепительно чистый.

Случается, что кто-нибудь из нас, оступившись, вдруг ухнет в снежный провал овражка и потом выбирается по его крутому боку с доброй пригоршней снега за воротом. В лесу такой гостинец приготовлен для каждого.

А вот наш путь пересекает широкая полоса жнивья. Можно зайти в поле, вырвать из-под копны охапку сухой соломы и в стороне от нее запалить небольшой костер.

И еще одно открытие: разве думали мы раньше, что мерзлый хлеб, на котором остаются канавки от зубов, может быть таким вкусным!

В какую бы сторону мы ни уходили, всегда оказывались в хороводе бородатых сосен и берез в шарфах, сотканных из блестящих снежинок. Хорошая, умелая ткачиха зима! На елочку такую шапку нахлобучила, что та только руками-лапами от удивления развела.

Бывает, что вдруг, откуда ни возьмись, посыпятся на елочку яблоки... Да это же снегири в красных нагрудниках! Как профессиональные циркачи, раскачиваются они на ветках, повиснув вниз головой, а черные бисеринки их глаз так и косятся, так и косятся в нашу сторону: «Откуда, мол, это взялись такие румяные и что им надо здесь, бессовестным, у самой нашей спальни?»

— Чьи вы? Чьи вы? — интересуются снегири.

— Свои мы, свои, — успокаивает их Толя.

Оставляем снегирей наедине с елочкой, а сами идем дальше.

Все шагаем и шагаем, и сами собой всплывают в памяти где-то раз да и то мельком слышанные одним из нас слова песни:

Утихают все волнения,
Улетают мысли грустные.
Ах, какое наслаждение
По земле шагать без устали...

Мы даже не замечаем, что уже не только вспоминаем эти хорошие слова, но и поем их:

...Хорошо шагать пешком,
Умываться ветерком
И землею любоваться,
На которой мы живем...

Песенка давно уже кончилась, а мы все еще поем, подбирая под ее мотив свои слова. Слова находятся какие-то редкие, звучные и, как нам обоим кажется, многоцветные...

Так, сам того не замечая, Толя сочиняет свои самые первые стихи...

А снег блестит, скрипит, слепит глаза. Лес словно заколдован, так глубок и строг его торжественный покой. Посеребренные деревья полны той спокойной красоты, той величественной мощи, какой испокон веков знаменит сибирский лес. Тишина. Тс-с-с... Кажется, что вот-вот раздвинутся ветви и на поляну выйдет Снегурочка....

Домой вместе с букетами багула и сосновых веток Толя приносит новый выученный лесной урок, румянец от уха до уха и самый лучший из всех запахов — запах веселого смолистого костра.

И вот мы дома. После нескольких часов чудесного «ничегонеделания» неожиданно делаем еще одно открытие: время-то, оказывается, еще совсем «детское»: всего-навсего девятый час...

Ночью Толе все еще слышатся поклики лесных птах, снится живая струйка Заячьего ключа. Упругим фонтанчиком поднимается она из-под ели-ветровалины с устланного бронзовыми листьями дна, и блестки-песчинки играют в ней веселым, бесконечным хороводом.

Удивительный этот ключ. Маленький, он не поддается самому большому морозу. Вот такой и Толя. Не переставая, бьют в его душе чистые, незамутимые роднички, и я не могу удержаться и не рассказать еще о нескольких историях из жизни одиннадцатилетнего человека.

Они увидели друг друга одновременно: зайчишка, выскочивший на свежую вырубку и растерявшийся от неожиданно большого неба, куда-то исчезнувших деревьев, остатков незнакомого, острого запаха, и Толя, по велению мальчишечьего сердца бросившийся ему наперерез. Зайчонок метался по предательски чистой арене и не знал, куда девать свое маленькое, дрожащее тельце. Схваченный и прижатый к груди, он все еще бился, отстаивая свою свободу.

Охотничий блеск в Толиных глазах сменился недоуменным вопросом: а что делать теперь?

Я молчал, предоставляя решение этой задачи самому Толе.

Два сердца — маленького человека и зайчишки — перестукивались между собою. И они поняли друг друга! Может быть, именно поэтому зайчонок, посаженный на свежеспиленный приземистый пень, перед тем как броситься наутек, почти целую минуту смотрел в добрые мальчишечьи глаза.

Разбушевавшиеся, черные от зимней сажи воробьи горланили под стрехами, приветствуя весну. (Правда, до настоящей весны было еще далеко, но небо, не стерпев, напустило столько голубизны, что остатки зимы неохота и замечать). Снег уже томился, и по сугробчикам во дворе словно кто-то из дробовика в упор дуплетом пальнул — так широко ветер капель разнес.

Мы, как обычно, идем в лес. В тот же самый лес. Толя на минуту отстает, кому-то машет рукой. Оборачиваюсь. За оконным стеклом вижу тоскливые глаза и сплюснутый Гринин нос: ему с нами нельзя — ангина. А Грине так хочется в лес, что у Толика даже портится настроение.

Нам везет сразу же. Метрах в ста видим ястреба-тетеревятника, видимо, перезимовавшего в наших местах.

Теперь вся надежда на целевой патрон.

— ...ах-х-ха-ха-а... — выдыхает лес винтовочное эхо. Медленно падает перекушенная пулей сосновая ветка, а ястреб штопором ввинчивается в небо.

Но — ничего. Трофей все равно интересный: на ветке можно легко рассмотреть уколы острых ястребиных когтей.

Толя прячет под пальтишко колючий лесной сувенир. Теперь — я это знаю точно — недели три кряду ветка будет у него самой дорогой забавой.

...Вечером захожу к Грининому папе за свежей «Советской Россией». На тумбочке у Грининой кровати стеклянная банка из-под томатного сока. В банке — исколотая когтями сосновая ветка.

Нет, плохо все-таки знаю я Толин характер.

Вовка Архипов таки продал своих голубей. Пришли какие-то молчаливые ребята, позабирали их и унесли из Южного. Но через пару дней над поселком снова закружил сизый ветер — голуби прилетели обратно. Только не в садок Вовки Архипова, а ко всем. Расселись по верхним карнизам двухэтажных домов, а кормились у всего Южного.

Зимой птицы перебрались на чердаки — поближе к ласково-теплым трубам. За несколько недель до этого они старательно носили туда сухие ветки, солому, ветошь...

На чердаке нашего дома тоже поселилась одна пара, а летом у нее объявились птенцы.

— Целых два! — сообщил Толя. — Умористые!

А потом за что-то попало управдому, и он вдруг стал доказывать свое управдомское прилежание: пришли стекольщики и застеклили чердачные окна.

Голуби виражировали над крышей, волновались: по ту сторону окна призывно и приглушенно пищало. Не успели мы с Толей опомниться, как голубка, сделав короткий и крутой гон, со всего лета ударила в раму.

Прямо к Толиным ногам скружило сверху маховое голубиное перо.

Это было, конечно, необыкновенное перо. Иначе зачем мальчишкам с поселка выманивать его у Толи? Его убеждали по-разному. Например, Пашка Ципиков, или попросту Цип-Цип-Ципа (тот самый Ципа, который, решив стать красивым, прижимал на ночь свою курносость бельевой прищепкой), приводил такой веский довод:

— А помнишь, Витька Смирнов тебе зуб трогать давал? Помнишь? (Тот самый Витька, который как-то бросал вверх леденцы и ловил их ртом до тех пор, пока один из них не отломил краешек зуба).

А Петька Водовозов (тот самый Петька, который однажды сунул в штепсель концы маминых ножниц и до сих пор видит во сне голубые колючие искры) говорил прямо:

— Если хочешь, чтобы все чин-чинарем было, — отдавай перо!

Толя предлагал ребятам альбом с марками, набор спичечных этикеток, удочку-закидушку — все, чтобы только не просили!

...Чем перо дорого ему, знает только сам Толя. Мне, правда, с его слов известно, что «хоть когда тронь это перо, оно всегда теплое-теплое. А ночью на нем даже какие-то цветинки блестят. Надо только долго-долго, не отрываясь, смотреть...»

Ю. Скоп, В. Шугаев

Буксир „Ленка"



Очерк

...Сейчас, наверное, по Лене с караваном барж к Ледовитому идет обыкновенное буксирное суденышко. У буксиров нет имен. Просто «БК-2», «БК-4». Но на этом по борту белыми буквами выведено — «Ленка».

У «Ленки» есть своя биография...

1

Историю эту, пожалуй, стоит начать с Катьки. Бакенщицы Катьки. Единственной женщины на много километров к северу и югу, западу и востоку от крохотной метеорологической фактории «Остров».

Лена здесь, размашисто налетая на крутолобый, заросший тальником остров, делает неожиданный поворот вправо. И лучшего места для метеостанции и избушки бакенщика не найти.

В конце апреля, примерно за месяц до навигации, Катька появилась на острове. И вскоре от него к домику метеорологов протянулась неровная ниточная тропка. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, Катька шла на станцию за продуктами. В такие дни пожилой радист Константин Иванович брился дольше обычного и освежался из заветного, последнего на зимовке флакона духов «В полет». А его коллега Юра сочинял очень длинные телеграммы в Иркутск. Все-таки Катька была единственной женщиной на много километров к северу и югу, западу и востоку от крохотной метеорологической фактории «Остров». А появлялась она с весной...

Катьке где-то под тридцать. Хотя вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь заглядывал в ее паспорт. Да что там паспорт. О Катьке в Осетровском порту знали все и не знали ничего. Когда Катька появлялась на танцах в клубе речников, парни понимающе перемигивались и болтали о шкипере Шурке с самоходки «СТ-601», о машинисте Гошке с плавучего крана и еще о ком-то, видимо, имевшем прямое отношение к Катьке. Но как бы там ни было, кавалеров у нее на танцах хватало.

Парни любили танцевать с Катькой, потому что она танцевала смело. Может быть, чересчур смело.

Представьте, что вы танцуете с Катькой. Совсем рядом — на плече — тяжесть ее кос, уложенных по-речному, бухтой. От волос пахнет чем-то знакомым-знакомым, но забытым. Может быть, так пахнут тальники, промытые дождем, или ветер над отсыревшим утренним плесом. Катькино сердце совсем рядом, за малиновым шелком кофточки. Кажется, что можно войти в него без стука: хватит в нем доброты и щедрости.

Когда речники танцуют медленный танец танго, смотреть на Катьку всегда немного грустно — не танец, а прощание. Вот так же расстаются на перронах и на причалах дебаркадеров перед дальней дорогой.

Но, расставаясь, люди смотрят друг другу в глаза. Смотрят долго-долго — навсегда. А Катька в глаза не смотрит. Тушит в ресницах взгляд, щурится в равнодушии. Пусто и безразлично в ее глазах. Нет рядом Катьки: жаль ей для вас своего тепла... А может, просто некому дарить его?..

Катьку никогда не провожали с танцев. Хотя кое-кто и жалел потом, что не хватило духу подойти и предложить это.

Где-то после ноябрьских праздников Катька перестала ходить в клуб. Говорят, в последний раз ее видели в затоне с мотористом Игорем Ничого. Парни, как умели, обговорили эту новость и постепенно стали забывать про Катьку: ведь она с ноябрьских праздников ни разу не пришла в клуб.

2

Игорь Ничого всегда считал, что он не утонет и с семиклассным образованием. По этому поводу он на буксире частенько затевал философские споры:

— Вот дрейфую, я, значит, по улице. И ветер нам дует в лицо. Вдруг — такси. За рулем — ударник коммунистического труда. Судя по надписи на ветровом стекле. Послушайте, говорю, товарищ ударник, не подвезете ли до клуба? Едем. Не отрываясь гляжу на счетчик — привычка у меня такая. Затормозили на двух десяти. А так как у меня только крупные, даю два тридцать. Берет с удовольствием, двугривенный присваивает. Вот это думаю — да!

Это я к чему, Вельямин, клоню. Однажды в солнечный день на рубке нашего буксира появится надпись; экипаж, сокращенно, комтруда. А в экипаже сотрудничает одна несознательная единица, Игорь Ничого. И ей, этой единице, абсолютно не хочется учиться. Где, Вельямин?

Венка Бурыкин («Вельямин»), матрос с «БК-4», как и подобает младшему, моментально сообразил:

— В ШЭРЭМЭ...

— Правильно, юнга. А пока сбегай-ка за ведром солярки.

Венка снова моментально выполнил просьбу старшего и приготовился принять новую порцию философских раздумий Игоря:

— Я, Вельямин, человек серьезный. Могу и без аттестата зрелости пройти по Великому Северному пути. А мне совершенно несерьезно педагоги предлагают создать произведение на тему «Весна в Осетровском порту». Хотел бы я знать, что думает по этому поводу старик Магеллан.

Все-таки днем на буксире особенно не разговоришься. Очень молчаливый и решительный человек, двадцатитрехлетний капитан буксира Геннадий Иванович Стопов игнорирует умные разговоры Ничого. Игорю приходится до предела скрючивать длинные ноги и пробираться к проклятому цилиндру, который «так стучит, будто ему больше делать нечего».

В последние дни перед навигацией работы на буксире по горло. Тем более, что между капитанами «бекашек» идет негласное, нигде не записанное соревнование, о котором точнее всегда сказать так: «мое судно лучше всех»...

Каждый капитан хочет первым прийти в контору и удивить негромкой солидностью:

— К навигации готов.

Такие слова сказать очень лестно, но и боязно: в порту помнят, как в прошлую весну «БК-2» капитана Лохова выскочил было первым из затона, поднатужился, вытягивая баржу, а после еще полмесяца отстаивался. И в эти полмесяца капитана Лохова не видели, как говорится, в присутственных местах.

Поэтому на стоповском буксире, начиная с Вельямина, все — на одно лицо: промасленные, пропитанные соляркой, небритые, за исключением Венки Бурыкина, которому можно пока бриться ладонью.

Правда, вечерами, когда на Лене кончают работу, противные апрельские сквозняки и тепловатая тишина наполняют затон, Игорь Ничого делится впечатлениями о курсе прохождения наук в ШРМ. Обычно его слушают молча. Венка молчит потому, что к этому его обязывают возраст и судовая роль. Стопов же вообще презирает длинные разговоры: моряк должен быть до предела краток.

У Игоря Ничого на этот счет свое мнение.

— Итак, я возвращаюсь к теме моего последнего сочинения «Весна в Осетровском порту». Я цитирую:

Весна, весна — такое время года,
когда все ждут начала ледохода...

Как видите, я начал стихами. И что вы думаете? В результате — семнадцать грамматических ошибок, исключая пунктуацию. Отсюда делаю вывод: весна для меня будет очень трудной.

Днем затон живет звуками. Ровными, резкими, рабочими. В сумеречной тишине — наоборот: на смену звукам приходят запахи. Душновато-терпкие — олифы, тепловато-приторные — перегретого машинного масла, смолевые доски рассказывают о жарких июлях, темная полыньевая вода отдает рыбной свежестью.

Берега растворяются в вечере, только угадываются на бледном береговом припае черные полумесяцы вмерзших в лед лодок.

Пахнет в затоне весной...

3

Огонь горел на острове уже целую неделю. Пожилой радист Константин Иванович теперь брился каждый день и дольше обычного. В рубке прописался непривычный для зимовки запах духов. Его коллега метеоролог Юра с особой тщательностью высчитал дни, оставшиеся до конца зимовки. Оба ждали прихода Катьки и начала ледохода.

Огонек горел на острове целую неделю, но Катька почему-то не шла. Было это непонятно и потому тревожно. Константин Иванович и Юра имели довольно четкое представление о Катькином характере: не приходит — значит так надо. А лишний раз нарываться на ее гордую злость совсем не хотелось. Коллеги уважали Катьку. Все-таки она была единственной женщиной по соседству.

Одним словом, непонятное поведение Катьки каждый переживал по-своему. Константин Иванович чересчур уж часто стал чертыхаться по поводу нерасторопности радистов с основной базы, а Юра снова вытащил на свет самоучитель английского языка.

Последние сводки радовали метеорологов: по всем признакам со дня на день начнется ледоход. И даже полученное утром штормовое предупреждение было на руку: ветер поможет реке.

До очередного сеанса оставалось два с половиной часа. И Константин Иванович решил сходить к Катьке.

— Вам, Юра, лучше не рисковать. Мне, пожилому, легче будет разговаривать. Все-таки в мои годы можно рассчитывать и на вежливый прием.

Константин Иванович сложил в рюкзак продукты для Катьки, надел лыжи и пошел на остров, на огонек, очень похожий на бакенный.

Еще в сенях, разыскивая впотьмах ручку, Константин Иванович услышал какие-то звуки.

«Поет, что-ли?»

Он на всякий случай постучался. Песня оборвалась. Это Константин Иванович понял как разрешение войти.

Первое, что он увидел, были Катькины глаза. Удивило: как две полыньи.

Неровного света «летучей мыши» явно не хватало на избушку. Катькино лицо прятали тени, и от этого ее глаза становились еще глубже.

Он прожил долгую жизнь, радист Константин Иванович. Он понял все: Катька собиралась стать матерью. Стараясь быть спокойным, Константин Иванович подошел к ней.

— Давно?

— Уйди!

И только после этого Константин Иванович услышал то, что в сенях принял за песню. Катька стонала.

А на реке вдруг гулко вздохнул лед. И этот первый вздох реки напугал Константина Ивановича еще больше.

«Ледоход! А как же с Катькой?.. Оставаться? Нет».

Все остальное он делал автоматически быстро: долил в фонарь керосин, поставил воду около Катьки, поправил одеяло. И все так же спокойно сказал:

— Я постараюсь очень быстро.

Ураган шел по речной долине вместе с ледоходом. Лена рвалась из-подо льда. Ревела и дыбилась. У самого берега Константин Иванович все-таки провалился. Спасли лыжи, которые он держал в руках. Он оглянулся. Огонек на острове горел.

4

Когда у начальника порта сидел врач и когда с вертолетной площадки уже в третий раз сообщили, что подняться не смогут, в это время капитан «БК-4» Геннадий Стопов навсегда поссорился с женой. На этот раз они твердо не сошлись характерами. Стопов поздно вернулся с буксира (сегодня его экипаж первым доложил о готовности к навигации) и ужасно хотел есть, а Клавдия пришла

из клуба после него. Причем с накрашенными губами. Если голод Стопов мог переносить, то последнего — ни в какую.

Стопов сказал Клавдии:

— Ты там какую-то «Стряпуху» разыгрываешь, а в доме пожрать нечего. Тоже мне Гурченко...

Клавдия сказала Стопову:

— Когда твой несчастный буксир утонет, тогда я, может быть, брошу драмкружок. Тоже мне, Папанин...

Стопов очень хотел, чтобы дома у него был порядок, как и на «БК-4», и знал, что краткость — украшение моряка. Он просто-напросто хлопнул дверью.

Клавдия успела бросить вдогонку:

— Куда?

На что получила довольно вежливое «разъяснение».

— В вокальный кружок.

На языке уважающих себя осетровских капитанов это значило — в чайную.

Вельямин в это время сидел в чайной и слушал взволнованную проповедь Игоря Ничого:

— Как член экипажа, борющегося за звание коллектива, сокращенно, комтруда, я должен бы был пресечь в тебе, мой юнга, алкогольное начинание. Но, учитывая, что сегодня у нас праздник, а в него вложена частица и твоего доблестного труда, изволь, Гарсон, кружку пива моему юнге.

С вертолетной площадки в четвертый раз сообщили, что подняться не смогут. Над портом бушевал ураган. Он гнул портальные краны, бился, твердолобый, об обшивку судов, стоявших в затоне.

И еще одна радиограмма пришла с «Острова»:

«ОГОНЕК ГОРИТ ТОРОПИТЕСЬ ЛЕСОВ».

Начальник порта, застывший у окна, резко повернулся к капитану Шацкому.

— Петр Иванович, а что если попробовать на буксире?

— Не знаю, не знаю... Да и кто пойдет?

— Попробовать поговорить со Стоповым. У них машина вроде в порядке... Давайте вызовем их.

В это время в «вокальном кружке» за столиком Стопова курили и молчали. Даже Игорь Ничого, чувствуя капитанскую грусть, молчал уважительно. Но когда рассыльный отыскал их, Игорь Ничого все же сказал:

— Приятно быть незаменимым.

Сейчас совсем неважно детально расписывать, как пробивался к «Острову» через ледоход «БК-4». Как у «Ласточкиного мыса» их чуть-чуть не перевернуло ошалевшими льдинами, как у самого «Острова» буксир потерял винт, а Венка Бурыкин успел перескочить на берег и зацепиться якоремкошкой за валун.

Сейчас совсем это не важно.

Потом было так. Первым в избушку вбежал доктор. И первым увидел Катькины глаза. Он много прожил, этот доктор, и сразу понял: Катька стала матерью.

В зыбком утреннем свете глубокие глаза ее светились извечной теплотой, понятной и доступной лишь матерям. Катька все сделала сама.

Доктор вышел в сени:

— Мы опоздали, ребята...

Венка чуть не закричал:

— Как!

— Да нет... Родила без нас.

Игорь Ничого даже плюнул с досады:

— Вот так всегда. Хочешь быть героем и ни черта не выходит. Слушай, доктор, хоть на минутку дай посмотреть, кого мы крестили.

Может быть, впервые за долгую свою практику доктор уступил. Нет, он не мог отказать этим парням.

Стопов, Вельямин, Игорь столпились у порога. И Ничого странным голосом спросил:

— С кем тебя, Екатерина Ивановна?

И, пожалуй, впервые Катька смутилась:

— Дочка...

— Как назовешь-то?

Катька не ответила. Ребята вышли, и вдруг Игорь, закрывая дверь, задержал ее, сунул в избушку голову и тем же странным голосом попросил:

— Назови Ленкой.

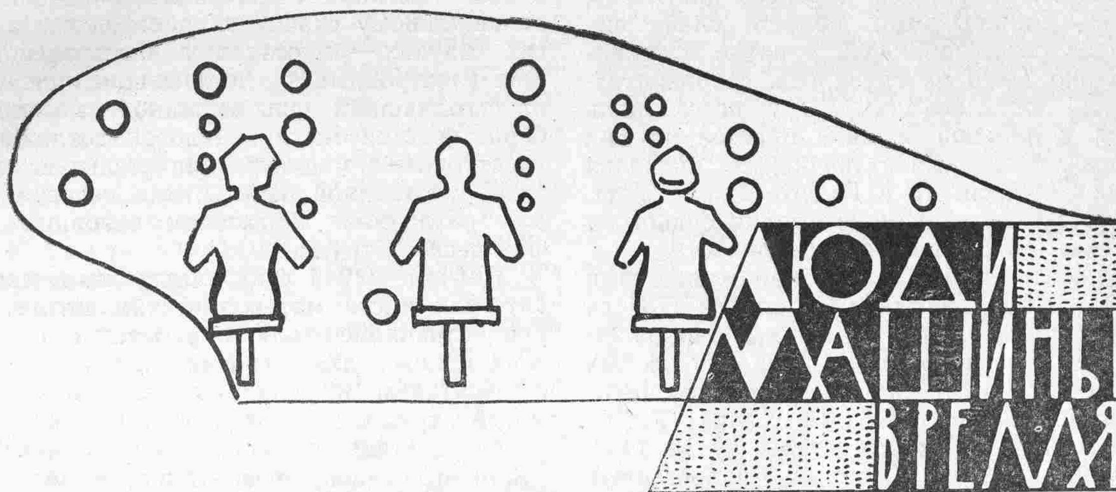
На обшарпанном, измочаленном буксире, таким он возвращался в затон по осени, Венка Бурыкин не сдержался, хотел пошутить:

— Ты, Игорь, оказывается, и отчество Катькино знал. Откуда бы это?

Ничого натянул ему шапку на нос и сказал Стопову:

— Открыли навигацию. Первыми уходим на отстой...

В. Цепурит



Когда заходит речь о тысячелетиях, сразу же встает перед глазами знакомая карта земли с желтыми песками юга, зеленью европейских лугов и перелесков, с коричневыми горными хребтами. На землях Африки, раскинувшихся у Средиземного моря, когда-то царствовали фараоны, и знойные лучи солнца нещадно жгли натруженные тела рабов... Вот здесь погребен под песками древний Хорезм. Созданную трудом его жителей оросительную систему разрушили бесконечные войны. Погибли посевы, и город опустел... А вот и знаменитые европейские столицы, не раз пережившие упадок и славу своих государств... Поистине необозримой кажется история человечества, если иметь в виду судьбы отдельных людей и поколений. И вся она заполнена деятельностью человека.

Миллионы людей творили тысячи лет, но примитивность орудий труда и полная зависимость от природы не давали возможности людскому труду воплотиться в столь же несметные материальные богатства. Все — от египетских пирамид и Китайской стены до построенных из глины и камня городов с их соборами и храмами — ничтожно в пересчете на число людских жизней.

Единственным правильно ощутимым наследством, оставленным людьми до XVIII века, была человеческая культура, ее художественно-литературный и научный арсеналы, явившиеся продуктом мыслительной деятельности сравнительно небольшого числа тружеников.

Шли годы. Менялись общественные формации. Каждая из них вносила что-то новое в строительную технику и в производство, но по-прежнему мускульной силы человека едва хватало для того, чтобы удовлетворить элементарные запросы своего поколения.

Нетрудно представить, насколько популярной была мечта людей о создании машины, способной заменить физический труд человека, причем работающей не так капризно, как вода и ветер, а ровно и надежно.

И вот Д. Папеном во Франции, Т. Ньюкоменом и Т. Севери в Англии, И. Ползуновым в России создается паровая машина — тепловой поршневой двигатель, предназначенный на первых порах для водоподъема (откачки воды из шахт). Во многих странах и многие люди пришли к одному и тому же результату.

Так в истории науки случалось не раз. Вспомним, например, величайший закон сохранения вещества, открытый независимо друг от друга Ломоносовым и Лавуазье, вспомним принцип Допплера-Физо-Белопольского, названный так по имени его первооткрывателей, неевклидову геометрию, зародившуюся в России, Венгрии и Германии.

Прав был венгерский математик В. Больян,

когда говорил: «Многие идеи как бы имеют свою эпоху, во время которой они открываются одновременно в различных местах подобно тому, как фиалки произрастают всюду, где светит солнце».

Шаг в большое производство был сделан, мускулы человека получили надежную замену, и создатели первого парового двигателя, казалось, должны были обрести славу выдающихся революционеров в науке и технике. Однако этого не случилось. Мировая известность досталась тому, кто всего лишь добавил к паровой машине простое на вид приспособление. «Счастливчиком» оказался механик университета в Глазго Джемс Уатт. Конечно, это не чудо и не ирония судьбы, а проверенная историей справедливость.

«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что патент, взятый им в апреле 1784 г., давая описание паровой машины, изображает ее не как изобретение лишь для особых целей, но как универсальный двигатель крупной промышленности». Эти слова Карла Маркса относятся к свидетельству № 1432, выданному Джемсу Уатту на изобретенный им центробежный регулятор. Промышленную революцию совершила не сама машина, а приспособление, автоматически регулирующее, нормализующее ее работу. С тех пор все вводимые в эксплуатацию двигатели снабжались подобными регуляторами числа оборотов вала.

Машина Уатта взорвала препоны, сдерживавшие развитие производственных мощностей. Великое единство науки и практики заговорило в полный голос. Со временем появились двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, и за полтора столетия люди произвели огромное количество материальных ценностей. Но дело не только в ценностях. Регулятор Уатта освободил человека от изнурительного труда по контролю за работой «паровых мускулов», по неотступному управлению ими. Исчезла забота человека о равномерности хода машины. Его внимание, мысль получили возможность целиком заняться рациональным использованием вырабатываемой энергии.

В этом отношении открытие англичанина сравнимо с выдающимся достижением русского изобретателя, тоже механика по профессии А. К. Нартова, сконструировавшего суппорт [1] и сделавшего тем самым свободными человеческие руки.

Едва ли Джемс Уатт, несмотря на всю свою одаренность, мог предполагать, что ровно через полтора века ученые назовут его регулятор простейшим кибернетическим устройством и что кибернетика, занимающаяся вопросами контроля и управления, станет самостоятельной и самой передовой отраслью науки. А именно так и случилось. Уатт решал задачу своего века, время же породило новые блестящие идеи, подвело к новому революционному скачку в производстве и многих науках — к созданию быстродействующих электронных счетных машин, явившихся на сегодняшний день вершиной развития кибернетической мысли. Человек возложил на электронные машины значительную часть своей умственной работы, как некогда передал различным двигателям основную долю физического труда.

Вначале (1943 год) электронные машины служили чисто математическим целям. Они предназначались для обработки статистических данных, для решения систем уравнений с десятками неизвестных, для выполнения многих трудоемких цифровых расчетов.

Математики, освобожденные от необходимости вычислять, превратились в подлинных капитанов научно-технического прогресса. Началась быстрая автоматизация производства, а математические методы и схемы мышления проникли во все отрасли науки вместе с электронными «думающими» машинами.

По результатам первых испытаний, одним из наиболее важных занятий электронных машин будет планирование и управление в области народного хозяйства.

Если совершить путешествие по улицам республиканских, областных и районных центров, то обязательно бросится в глаза большое число вывесок на фасадах домов. Самые большие дома — это министерства, совнархозы, главки и тресты, управления различными отраслями промышленности и транспорта. Дома поменьше — управления предприятиями, крупные и мелкие конторы. Все они заполнены людьми, имеющими дело друг с другом, с телефонами и бумагами и составляющими так называемый управленческий аппарат. Немалое число людей, занимающихся учетом и управлением, находится непосредственно на предприятиях.

Сложная система из живых элементов (да пусть не осудят нас за вольную терминологию в отношении нужных и знающих свое дело людей) собирает и передает в «центр» обширную информацию, а потом по тем же каналам из «центра» на «места» передается команда как результат обработки, осмысливания информации и выбора из нескольких вариантов наилучшего.

[1] Держатель резца в металлорежущих станках.

Сейчас эта система уже начинает испытывать некоторые затруднения в работе. Она не может действовать безукоризненно в условиях бурного развития производственных мощностей. Вдвое увеличится производство — втрое надо укрупнять руководящий аппарат, увеличивая тем самым разобщенность усилий отдельных людей, стоящих у руководства.

Но разве нельзя заменить «живые элементы» электронными, тем более, что их функции порой до предела просты? Оказывается, можно. Современные электронные машины вполне способны собирать и обрабатывать информацию и находить лучшие решения, рассматривая не несколько, а сотни и тысячи вариантов. Они могут и непосредственно участвовать в руководстве производством.

Почти ежемесячно в периодической печати появляются сообщения о том, что электронные машины установлены или на заводе (например, машина «Сталь-1»), или для планирования сельского хозяйства в пределах совхоза, или при каком-либо учебном заведении для выполнения отдельных заказов предприятий и учреждений.

Большую услугу оказывают электронные машины железнодорожникам при составлении графиков движения поездов. Здесь приходится учитывать множество параметров: мощность локомотивов, профиль пути, пропускную способность отдельных участков, мощность железнодорожных станций и т. д. Ни один диспетчер-графист не в состоянии составить графика, удовлетворительного во всех отношениях, а электронные машины делают это с успехом.

Рассмотрим еще один частный пример, характеризующий возможности электронных машин в организации производства [1].

На стройках города Москвы использовались различные башенные краны. Среди них — «МБТК-80» и «М-3-5-5», имеющие одинаковую грузоподъемность. Казалось бы, нет разницы, какой из них установить на том или ином участке. Но вот в вычислительном центре появилась «Задача об оптимальном использовании башенных кранов на различных видах строительства в г. Москве». Подверглись изучению 700 кранов на тридцати стройках. В результате машина «Урал» выдала такой вариант размещения кранов, при котором расходы по их эксплуатации снижались в два раза. Кроме того, оказалось, что 25% механизмов московского парка без ущерба для дела можно отдать в другой город.

Многое можно было бы сказать о задачах по геодезии, содержащих до 800 неизвестных и с успехом решаемых электронными машинами, о машинном расчете траекторий реактивных самолетов, ракет и кораблей-спутников, и, по всей вероятности, многое не показалось бы удивительным. Мы слишком привыкли к замене человеческого труда машинами в области производства, а здесь разница между умственным и физическим трудом постепенно стирается, и мы не замечаем, как машины переходят от замены мускулов к замене мозга.

Другое дело — «чисто мыслительные» области.

Самым удивительным словосочетанием последнего времени явилось название одной из отраслей науки: «Математическая лингвистика», а ее первые успешные шаги составили сенсацию двадцатого века.

В 1952 году был осуществлен первый машинный перевод с русского языка на английский. Словарь машины был тогда еще невелик. Она переводила только тексты, относящиеся к области атомной энергии и содержащие не более тысячи известных машине слов. Сейчас машины могут переводить с шести языков на русский при обширном словаре каждого из них. Сначала машины переводили только отдельные слова. Сейчас они «умеют» складывать их в правильные фразы на основании законов русского языка.

В современных условиях машины-переводчики крайне необходимы. Информация о научных достижениях, поступающая из различных стран, обрушивается к нам мощным потоком. Только в Московский институт научной и технической информации (НИИНИТИ) ежедневно поступает около трех тысяч журналов. Понадобилась бы громадная армия переводчиков высокой квалификации для того, чтобы обеспечить издание материалов на русском языке. При работе электронной машины научным сотрудникам остается только составлять краткие аннотации к переведенным текстам. Кстати, эта работа в будущем окажется посильной и самим электронным машинам-переводчикам.

Интересная работа по применению математики и счетных машин в лингвистике проводится под руководством академика Колмогорова. Ученые разработали методы подсчета энтропии языка писателей — величины, характеризующей богатство и некоторые другие особенности устной и письменной речи языка. Машина, «обученная» такому анали-

[1] И. Литвиненко. Математика — народному хозяйству. «Наука и жизнь», 1961, № 7.

зу, может по отрывку текста определить, перу какого писателя он принадлежит. Помогает электронная машина и оценить степень богатства языка писателя.

Например, по ее заключению, из русских писателей и поэтов самый богатый язык содержится в произведениях А. С. Пушкина, а самый бедный — в отрывном календаре.

Триумфальным итогом развития математической лингвистики явилась успешная расшифровка электронной машиной языка народа майя, жившего некогда на территории Центральной Америки и порабощенного в XVI веке испанскими колонизаторами. Этот народ оставил после себя большое количество трудных для прочтения рукописей, а жрецы, владевшие секретами письма, были полностью истреблены. Более ста лет ученые всех стран мира трудились над расшифровкой лаконичных текстов, но безрезультатно.

Успех выпал на долю математиков Сибирского отделения Академии наук СССР. Машина, сконструированная под руководством академика С. А. Лебедева, разгадала значения иероглифов, и сейчас в Новосибирске издаются переводы рукописей майя. Отличный результат машинного мышления!

Интересными во всех отношениях являются кибернетические игрушки и шуточные задания, даваемые электронным машинам для изучения их свойств и возможностей. Мировая электронно-вычислительная техника располагает «машинами-поэтами», «машинами-композиторами», машинами, играющими в шахматы, в карты, в домино, в чет-нечет, крестики-нулики, в любые игры, содержащие элементы логики.

Успехи электронной вычислительной техники во многом объясняются тем, что в XX веке люди стали больше, чем раньше, учиться у природы, подражать ей при решении научных проблем. Сама по себе мысль заимствования у природы не кажется новой и не может считаться каким-то открытием. А между тем как много веков понадобилось людям, прежде чем они приступили к воспроизведению живых форм, соотношений и процессов! Если бы сто-двести лет назад в лабораториях физиков испытывались не только твердые тела, жидкости и газы, а и живые организмы, то многие новинки современной техники были бы известны еще нашим дедам. Звуко- и радиолокация, «рыбий глаз», ночное видение — все было бы открыто значительно раньше.

Электронная машина в общих чертах моделирует работу нашей нервной системы и действует на основании математических законов, в частности законов кибернетики.

Новым разделом в том же направлении науки, младшей сестрой кибернетики и электронной счетной техники явилась биологическая электроника (бионика), которая занимается исключительно моделированием биологических процессов, в том числе работы отдельной нервной клетки.

Бионическое устройство посредством системы датчиков может воспринимать окружающий мир во всем его многообразии и соответствующим образом откликаться на внешние проявления. Его зрение, слух и другие «органы чувств» будут даже превосходить человеческие по своей чувствительности и разносторонности.

Практическое значение подобных устройств трудно переоценить. Возьмем хотя бы тот же институт научно-технической информации. С языка на язык переводят машины. Однако любой текст надо ввести в машину при помощи особого кода, и эта работа выполняется человеком — весьма инертным, медленно работающим «аппаратом». Что же касается бионического устройства, то оно способно прочитывать слова с электронной скоростью и автоматически сообщать их машине-переводчику.

Если бионический аппарат связать проводниками или по радио с электронной счетной машиной, мы получим бионико-кибернетическую систему весьма широких возможностей.

Кому не известен образ механического человека — «робота»? Неуклюжая машина, напоминающая человеческую фигуру, перемещается, будучи управляема по радио, и выполняет простейшие операции. Представим себе, что это не игрушка, сделанная в школьном кружке, а воспринимающий мир бионический аппарат, связанный по радио с вычислительным центром. Он легко узнает своих знакомых, может даже их поприветствовать. Он выдаст Вам любую справку, ответит на любой вопрос, так как машина, «стоящая за его спиной», являющаяся его «мозгом», имеет неограниченную память и может вместить в себя всю Ленинскую библиотеку и все служебные справочники.

Он может решить сложную задачу, взять на себя управление автоматической линией или целым заводом. Незаменимыми являются бионикокибернетические аппараты и в вопросах изучения космических трасс перед полетом человека. Они дают возможность полностью промоделировать работу человеческого организма, его реакции на внешние воз-

действия и установить, как будет чувствовать себя космонавт в тех или иных условиях.

Каковы же возможности «думающих» машин, может ли машина оказаться выше, разумней человека?

Если иметь в виду чисто внешнюю сторону и отдельно взятого конкретного человека, ответить на этот вопрос, пожалуй, следует положительно. О людях мы судили по тому, как они себя ведут, как отвечают на вопросы, какие действия и с какой быстротой предпринимают в различных случаях, каков объем их знаний и умений. По большинству из этих показателей электронная машина легко превосходит человека. Исключение составляет, может быть, только поведение в новых, не встречавшихся ранее и неучтенных условиях, хотя многие ученые считают, что эта оговорка не обязательна.

Однако машина не может стать выше всего человечества. Под человечеством мы понимаем не только совокупность людей, населяющих землю, но и всю ту культуру, которую люди накопили за время своего существования. Любая машина является частью человеческой культуры, а значит — частью человечества. Поэтому выше его она подняться не может. Машина всегда останется только машиной и всегда будет только выполнять заданную ей программу, в каком бы общем виде она ни была составлена. Сила машины — это сила руководящего ею человеческого гения.

Итак, за сравнительно небольшой промежуток времени люди научились заменять техникой не только свой физический, но и умственный труд, сделали его более легким и продуктивным.

Иные говорят, в трактовке вопроса о необходимости и радости труда есть историческое противоречие. Они усматривают его в том, что, признавая важность и полезность труда, человек на протяжении всей истории стремится облегчить свой труд. Для этого он создает новые источники энергии, двигатели, автоматы.

На первый взгляд такие утверждения кажутся обоснованными. Но только на первый взгляд!

Вдумаемся глубже в поставленный вопрос, и станет ясно, что не просто труд, физические и умственные усилия всегда считались радостными, а полезность труда. Человек, бесцельно переносящий камни с одного места на другое, радости в труде не найдет. Бессмысленные физические и умственные усилия только угнетают человека. Но если из тех же камней складывается дом и человек видит, как растет стена с каждым взмахом его рук, радость труда приходит обязательно.

Создавая машины, человек увеличивал производительность труда. И все же долгое время он получал от этого только частичное удовлетворение, так как знал, что все, им сделанное, присваивается небольшой группой людей. Только часть труда косвенным образом шла на пользу самому производителю и другим людям. Эта часть и определяла некоторое моральное удовлетворение, полученное в труде. Когда же наступила эпоха социализма и труд полностью освободился, стал иметь всенародное значение, радость труда обнаружилась в полной мере и увеличивается по мере механизации труда, делающей его более результативным. Со временем у человека появляется потребность в таком моральном удовлетворении, то есть потребность в труде.

Резко изменился и сам характер труда с введением новой техники. Новые заводы представляют собой совокупность взаимосвязанных машин, автоматически действующих и управляемых. Роль человека сводится к контролю за их работой, настройке автоматов и совершенствованию производства. Возможно, что будет введен не только ненормированный рабочий день, но и ненормированная рабочая неделя. Служащий будет отвечать за определенную группу станков и сам составит наилучший с его точки зрения график работы.

Новая техника и новая жизнь открывают неисчерпаемые возможности покорения природы и ставят такие цели, на осуществление которых могут быть направлены усилия бесчисленных поколений людей. Полное освоение земли, проникновение в ее недра (геокосмос), регулярные рейсы на другие планеты и за пределы Солнечной системы, возможное заселение других планет для благоустройства непрерывно растущего населения — это только часть стоящих перед нами задач.

Нерешенных проблем так много, что каждый месяц жизни науки приводит к формированию нового научного направления.

Есть в научно-технических достижениях и теневые стороны, есть силы, пытающиеся использовать прогресс человечества во вред самому же прогрессу. Но эти силы в меньшинстве. Мы уверены, что забота о человеке, его материальном и духовном обеспечении останется главной целью всех усилий общества, на какой бы ступени развития оно ни находилось.

Л. Н. Могилев

РЕЗЕРВЫ НАШЕГО ЗРЕНИЯ

Зрение — одно из замечательных чувств человека. Глаза можно сравнить с окнами, открытыми во внешний мир. Через эти окна в нас проникает бесконечное множество зрительных впечатлений, рождающих в мозгу определенные мысли и чувства.

Зрительный аппарат очень тонок и совершенен. Наш взгляд достигает далеких звезд, поспевает за стремительно пролетающим самолетом. Ученый различает под микроскопом тончайшие структуры клеток и тканей, художник любуется едва заметными переходами от света к тени, сложной цветовой гаммой, разнообразием форм.

Мы видим мир объемным и многоцветным и, что особенно интересно отметить, мы видим мир вне себя. Это позволяет нам выделить себя из окружающего, формирует объективный взгляд на мир вещей и явлений.

А умеем ли мы видеть? Вопрос, возможно, покажется странным. Но он правомерен. Вот пример: бывалый охотник гораздо лучше различит следы зверя, чем неопытный человек. Можно привести бесчисленное множество подобных примеров, но едва ли в этом есть необходимость. Мы лишь заметим, что умение видеть связано с индивидуальным жизненным опытом человека, его профессиональным образованием, природными способностями.

Современный человек вооружил свой глаз многими совершенными приборами. Электронный микроскоп позволяет рассматривать объекты при увеличении в несколько десятков тысяч раз, радиотелескоп дает возможность увидеть галактики, удаленные на сотни миллионов световых лет.

Но как бы ни был опытен и искушен человек, как бы ни был зорок его глаз, наконец, какие бы совершенные приборы ни использовал он, все равно у человека имеются богатейшие зрительные резервы, позволяющие ему видеть еще больше и еще лучше. Нужно только уметь мобилизовать эти резервы зрения.

Остановимся очень кратко на некоторых вопросах физиологии зрительного аппарата.

Было бы глубокой ошибкой думать, что зрение обеспечивается лишь глазами. Глаз — это лишь периферический световоспринимающий аппарат. В нем происходит трансформация световой энергии в нервную, а далее зрительное возбуждение по нервам достигает зрительных отделов головного мозга. Вот там-то и происходят сложнейшие процессы анализа и синтеза поступающих импульсов, преобразование их в зрительное ощущение. Следовательно, без знания физиологических закономерностей деятельности головного мозга невозможно понять сложный механизм зрения и тем более управлять им.

Мы расскажем кратко о некоторых наших опытах в области физиологии объемного зрения человека, основанных на явлении физиологического двоения.

Перед вами два рисунка. На одном изображены черные круги на белом фоне, на другом — круги и кольца, соединенные линиями. На первый взгляд в рисунках нет ничего особенного. Но давайте взглянем на эти рисунки, соблюдая определенные правила.

Как вы видите, на первом рисунке черные круги расположены в три ряда, по шесть кругов в каждом. Все они одинакового диаметра. Если поднести изображение вплотную к глазам и, глядя вдаль, как бы сквозь бумагу, медленно отодвигать его, можно на





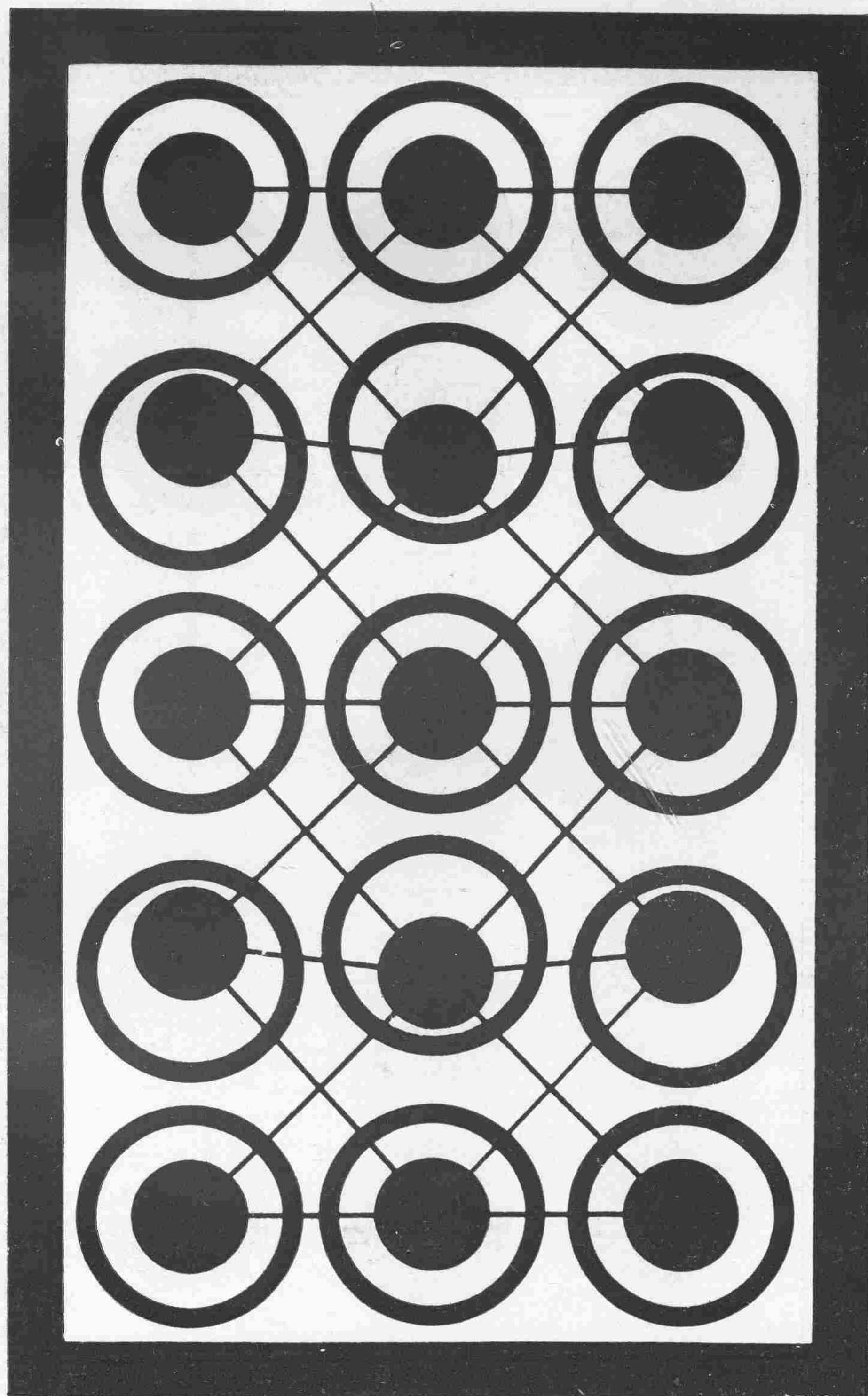



Рис. 1

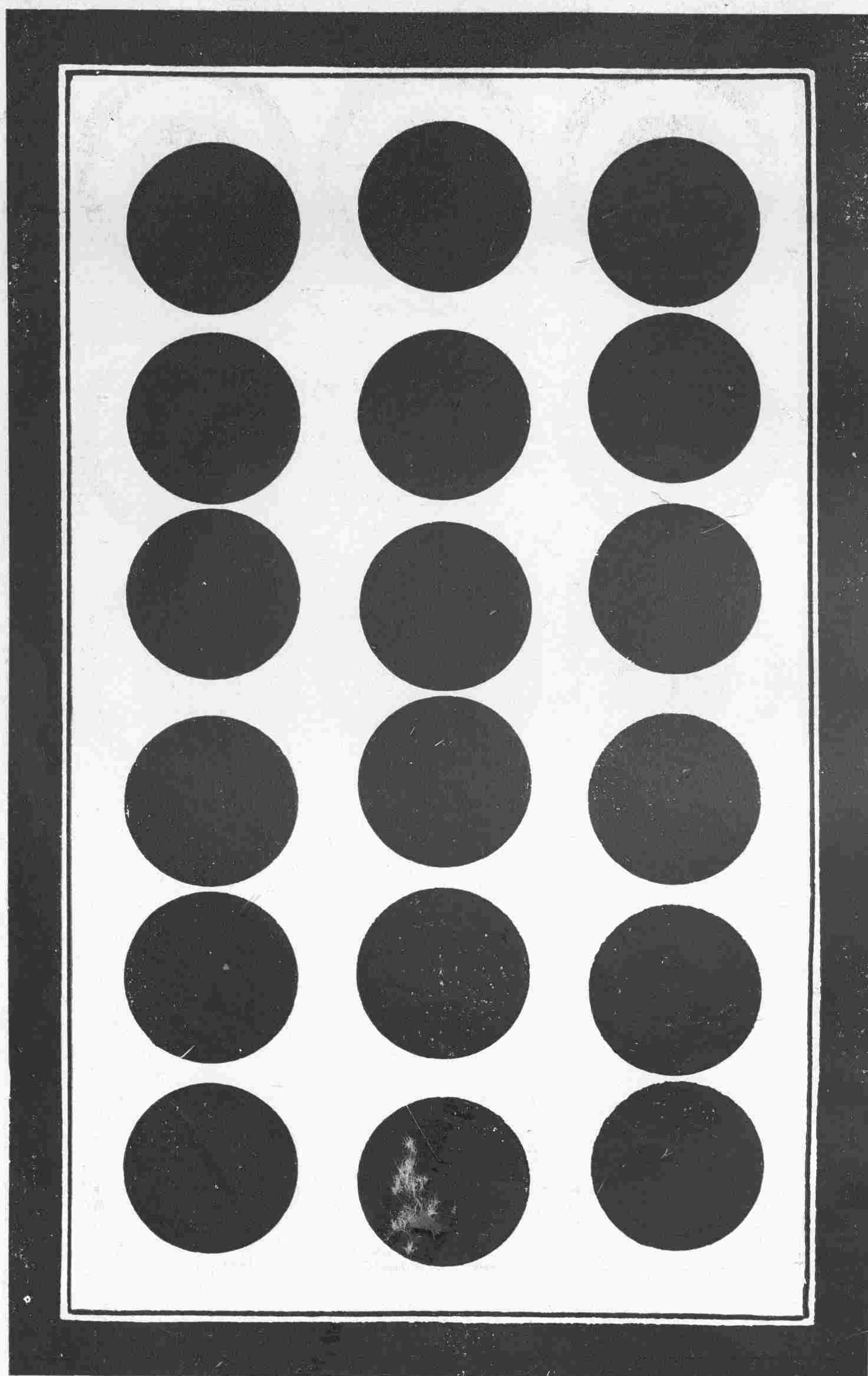


Рис. 2

определенном расстоянии увидеть очень интересную картину: круги будут видимы в трех различных плоскостях, в дальней — наиболее крупные, в средней — поменьше и в ближней — самые мелкие. В верхнем, среднем и нижнем рядах вы увидите не по шесть, а по семь кругов, причем фигуры будут казаться значительно крупнее, чем на истинном изображении. Не менее интересный эффект дает при такой же настройке глаз второй рисунок: четкое пространственное распределение колец, кругов и линий.

Предупреждаем, что рекомендуемая настройка глаз дается далеко не всем одинаково легко. Необходим определенный навык в этом отношении. Но, как показали опыты, большинство людей после небольшой тренировки хорошо овладевает этим нехитрым способом зрения.

Как же объяснить эти интересные зрительные эффекты? Мы уже сказали, что в основе их заложен механизм физиологического двоения. Человек видит ясно лишь тот предмет, на котором сосредоточен его взгляд или, говоря языком физиолога, который находится в области пересечения зрительных осей. Предметы или изображения, находящиеся ближе или дальше пересечения зрительных осей, видятся раздвоенными. Поэтому для обозревания объемного мира человек должен постоянно перенастраивать свои глаза, итогом чего является суммарное впечатление. Таким, например, является ощущение перспективы улицы.

Наши рисунки рассчитаны так, что при физиологическом двоении соседние фигуры накладываются одна на другую, обусловливая тот или иной зрительный эффект. Последний зависит от величины фигур, расстояний между ними, формы их и цвета. Нам удалось получить большое количество пространственных зрительных эффектов.

В качестве иллюстрации приводим картинку, построенную по нашим правилам и обеспечивающую зрительную иллюзию.

Исходя из полученных данных, нам удалось получить изображения, не требующие специальной настройки глаз. Такие изображения обеспечивают и стереоэффект на киноэкране и экране обычного телевизора. Это открывает заманчивые перспективы для использования физиологических резервов зрения в кино-и телевизионной технике.

Исследования имеют, разумеется, и специально физиологический интерес и, как мы надеемся, могут практически использоваться в медицине.

ДАТЫ. ЮБИЛЕИ

А. Гайдай

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И. И. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО



Десятки поэтических сборников для взрослых и детей, интереснейшие воспоминания об А. М. Горьком, выступления, обращенные к молодым писателям и читателям-землякам — таков далеко не полный перечень творческого наследия поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, одного из зачинателей советской литературы в Сибири, неутомимого организатора и собирателя писательских сил Иркутска.

Литература была для И. И. Молчанова делом всей его жизни. Комсомолец 20-х годов, он пришел в поэзию через годы труда, учебы в университете, службы в рядах Советской Армии.

«Начало сознательной работы,— пишет поэт в своей литературной биографии,— относится ко времени вступления в комсомол. В 1922 году я начал печататься в газете «Власть труда». Большую радость возбуждала каждая строчка напечатанной заметки. Стихи я тогда еще не решался давать в редакцию».

В 1923 году стихи Ивана Молчанова появляются в Иркутском журнале «Красные зори» и почти одновременно в журнале «Сибирские огни». Уже сами их названия говорят о волнующей поэта тематике: «В тайге», «Партизан», «Коммунар», «Военорг»...

Первый поэтический сборник И. И. Молчанова назывался «Покоренный Согдиондон» по имени слюдоносной сопки, на вершине которой горняки заложили рудник. Эта книжка от первой и до последней строчки была наполнена пафосом индустриальных преобразований Сибири, воспевала человека-труженика, хозяина своей земли и своей судьбы.

Каждая новая книга поэта знаменовала собой не только рост его профессионального мастерства, но и поэтическое освоение новых пластов жизни. На долгие годы лирическим героем Ивана Молчанова становится воин-

патриот. Ему посвящены и вышедший незадолго до войны сборник «Граница на Востоке», и стихи военных лет.

Писатель-коммунист И. И. Молчанов всегда считал, что первейшая и основная обязанность литератора — писать, активно работать в избранном им жанре. Ведь слово — это и есть дело писателя. «Над чем вы сейчас работаете? Как пишется?» — с такими вопросами И. И. Молчанов часто обращался к нам, своим сотоварищам по перу. И это с его стороны было не просто знаком обычной вежливости или чисто внешнего, официального внимания иного руководителя, а проявлением глубокой заинтересованности старшего друга и товарища, стремлением знать, что и как делают люди, входящие вместе с ним в отряд писателей-сибиряков. Пожалуй, как никто другой, Иван Иванович обладал счастливым талантом радоваться не только своим собственным, но и чужим успехам. С ним было легко говорить о самых сложных вещах, его неизменная доброжелательность помогала автору понять и достоинства и недостатки своего произведения, строже относиться к своему творчеству.

Находясь зимой 1944 года в одном из военных гарнизонов в Монгольской Народной Республике, И. И. Молчанов записывает в своем дневнике: «Прочел в «Комсомолке» стихи Ольхона «Порог на Ангаре». Понравилось. Хорошо». На следующий день запись начинается с сообщения о том, что слушал по радио стихи Константина Седых, и вновь Иван Иванович отзывается с похвалой о проникновенной лирике товарища.

Помню, как вскоре после войны Иван Иванович полушутливо-полусерьезно спросил меня: — А как у вас производство стихов?» И когда я, перефразировав Маяковского, беззаботно ответил, что «производство стихов ниже довоенной нормы», он вдруг посерьезнел и стал говорить о том, как трудно бывает войти в «поэтическую форму» после длительного перерыва в работе.

Сам Иван Иванович упорно стремился сделать свой поэтический труд систематическим. Об этом говорят его записные книжки военных лет, многочисленные черновики. Параллельно с творческой И. И. Молчанов-Сибирский вел большую общественную работу. Он был членом Советского комитета и председателем Иркутского комитета защиты мира, членом обкома партии, депутатом областного Совета. Заседания и совещания нередко отрывали его от письменного стола, но он считал, что быть в гуще событий и дел, отдавать свои знания и опыт другим — это тоже писательская работа, гражданский, патриотический долг художника. Именно в таком общении с людьми, по его словам, рождались темы многих по настоящему острых и злободневных стихотворений.

Большинство из написанного И. И. Молчановым было опубликовано при его жизни. Он приносил на суд друга-читателя каждое свое новое произведение, охотно выступал в рабочих, студенческих и школьных аудиториях, читал свои стихи по радио. После смерти поэта (он умер 1 апреля 1958 года) в Иркутске были изданы сборники его избранной лирики и лучших стихов для детей. И все-таки часть литературного наследия И. И. Молчанова до сих пор остается неизвестной широкому читателю: это поэтические произведения, по каким-либо причинам не включенные автором и составителями в его сборники, главы из неоконченной автобиографической повести «Дом на Ангарской», заметки и наброски, содержащиеся в записных книжках. Ждут еще своего исследователя и многочисленные публицистические статьи и очерки поэта, написанные им в годы войны и разбросанные по фронтовым и армейским газетам.

В связи с исполняющимся 1 мая 1963 года 60-летием со дня рождения И. И. Молчанова-Сибирского мы предлагаем вниманию читателей отрывки из неопубликованного ранее «Сказа о партизане Еже». Эта поэма была, по-видимому, написана Молчановым незадолго до Великой Отечественной войны и затем дорабатывалась в послевоенные годы. В центре поэтического повествования — образ сибирского крестьянина-батрака Иннокентия Соснина, прозванного за свой непокорный, строптивый характер Ежом. В поисках хлеба насущного Соснин уходит из родного села на заработки и попадает в артель копачей на золотых приисках. Здесь, в рабочем коллективе, пробуждается его классовое самосознание, здесь он начинает понимать, кто виноват в его жизненных бедах, и когда Сибирь поднимается на борьбу с Колчаком, Еж становится бойцом таежной партизанской армии. После разгрома белогвардейцев и интервентов он возвращается в родное село, чтобы строить жизнь по-новому, мирно трудиться на земле, отвоеванной у врагов кровью лучших сынов и дочерей Родины.

Полностью «Сказ о партизане Еже» будет напечатан в сборнике неиздававшихся произведений поэта.

И. И. Молчанов-Сибирский

СКАЗ ПРО ПАРТИЗАНА ЕЖА

Только и было у Ежа —
Справа межа
Да слева межа.
От одной межи
До другой межи
Быстро курица добежит.
Дом у Ежа с одним окном,
Пища Ежа — вода с толокном,
Зачерпнет воды из ручья,
Хорошо, хоть вода ничья!

Солнце греет —
Не надо дров.
Хлеб не сеет,
Не держит коров.
Богачи болтают:
Богат Ежик,
все богатство его —
аркан да ножик.
В одном кармане —
Вошь на аркане,
В другом —
Блоха на цепи.
Только и знай —
Отдыхай да спи.
В одном кармане —
Смеркается,
В другом —
Заря занимается.

Жил в деревне другой мужик,
Ломились сусеки его от ржи,
Молока — чуть не река
У богатого мужика.
У него, что изба, печь.
Труд не в труд
Для батрацких плеч.
Сколько сбработано?
Как разберешь?
Пришел к кулаку
Рассчитаться Еж.
Шапку скинул,
Отдал поклон:
— Так мол и так,
Бью челом.
Пришла моя кручина —
Нет ни дров, ни лучины,
Прожил, батюшка, до тюки,
Нет ни хлебушка, ни муки.
Головой покачал мужик
(Он такое слушать привык).
— Эх, не ладно ты, паря, живешь,
Горемыка Ежович Еж.
Само главное, не робей,
Хлеба нет — до звезды говей,
Коль настанет другой такой день,
Затяни потуже ремень.
День-другой перегодят,
А потом опять не едят...

Так болтал кулак-говорок,
Показал батраку на порог,
У богатых совести не найдешь,
И пошел восвояси Еж.
Коли дожился до тюки,
Нанимайся на рудники.
Много дней по тайге шагал,
Прииск дальний Еж отыскал.
Услыхал он и здесь ответ:
— Работенки-то, паря, нет.
Тут совсем бы садиться на мель —
Приютила его артель.

Мамка щей ему налила
Да краюху хлеба дала.
Хлеб пахучий, горячий, родной —
Подсолил добрый хлеб слезой.
Из барака выйдут гурьбой,

Тьма кругом, хоть выколи глаз,
А как спустится Еж в забой,
Будто плечи придавит пласт,
Будто сразу спустился в ад —
Где-то взрыва слышен раскат,
Под ногами вода журчит.
«Тяжело добывать харчи!»
...Думу думает, пласт круша.
Изболелась его душа.
Знать, обид и в тайге не счесть,
И в тайге захребетники есть.
Ищет он самородок во мгле —
В глубине стужей скованных руд.
Самородок его на земле:
Самородок свободой зовут...
Он не видит: заря занялась —
Народилась Советская власть.
По загривку царь получил,
Кол забили, чтоб не вскочил.
Богатеев и царских слуг
Обуял повсюду испуг.
Но еще грозят кулаки,
Поднимает башку атаман,
Да на помощь идут полки
Лиходеев из разных стран,
Да еще адмирал Колчак,
Став лакеем, не моряком,
Созывает под белый флаг
Всех, кто катится кувырком.
Белый белому всюду брат,
Богатею друг богатей,
Но поднялся с винтовкой солдат
Для защиты отчизны своей.
По тайге прогремела весть —
Партизанская армия есть!
Знать, тайга не мачеха злая,
Партизанам она помогает.
Лишь в борьбе свое счастье найдешь...
И пошел в партизаны Еж.
Принят Еж в партизанский отряд.
— Как зовут? Отвечай нам, брат.
— Иннокентий, Иванов сын,
По фамилии был Соснин.
Как покинул отцовский дом,
Так прозвали меня Ежом.

От лихих партизанских атак
Растревожился лют-Колчак.
За отрядом гонит отряд —
Эшелоны в пути горят.
В январе слышен грохот гроз,
То составы летят под откос,
В январе бьет смертельный град...
Не вернется чужак назад.
Лиходеи из дальних стран
Не осилят никаких партизан.
В битвах — первым батрацкий сын,
Смелый Еж — Иннокентий Соснин.
Потаенной таежной тропой
Еж ведет отряд за собой.
Пули сбили с веток куржак,
Пули с визгом в сосны впились,
Но вдали застучал: так-так
Паровоз.
— Ну, ребята, взялись,
Разобрали оба пути,
Рельсы сбросили под откос...
— Вот теперь тебе не пройти.
Белой шапки паровоз,
Как простуженный, шел, дыша,
С хрипом, с визгом клубился пар.
А засада, снег распуша,
Все винтовки взяла на прицел.
Паровоз на дыбы, как медведь...
Рухнул с ревом в глубокую падь...
А вагоны, спеша умереть,
Покатились его догонять.

Бой окончен. Сидят у костра.
Он горит, как заря-сестра.
Скоро кончится время бед,
За горами свободы рассвет.
Чуть не к небу огня прыжок.
— Запевай, Иннокентий-дружок,
Приподнялся Еж, оглядел,
Партизанскую песню запел:
— Ты подуй, подуй, погодушка,
Ты подуй, подуй, не малая,
Ты развей, развей, погодушка,
Наше знамя, знамя алое...
Он поет, а с ним товарищи,
Их спаяла сила ратная,
Жгли морозы, жгли пожарища,
Месть звала в бой неоплатная.
Кровь спаяла бойцов содружество,
Дым костров был хмельною брагою,
Закалялось в сраженьях мужество,
Породнилось упорство с отвагою.
Вновь свободна сторонка дальняя,
Не чужая она, не кандальная,
Не бедняк теперь Иннокентий Соснин,
Победитель он — Родины сын.
Как и все отчизны сыны,
Он владелец богатств страны.

Перед ним много верных дорог,
На любой от зарниц светло...
Но зовет: возвращайся, сынок!

У крутых берегов село.
Возвращайся, счастьем владей,
На просторах паши да сей.
Урожай добрый снимай...
Что ж, родное село, принимай!..

Игорь Дружинин

ПАМЯТЬ ДРУГА

Страница воспоминаний

Эти воспоминания написаны по долгу сердца.

Он всегда живет в памяти и как замечательный человек, и как поэт, и как друг и старший товарищ,— наш Иван Иванович Молчанов-Сибирский.

Знакомство наше началось заочно.

В январе 1942 года я, начинающий поэт, сержант пограничного гарнизона, послал в Читу, в редакцию красноармейской газеты Забайкальского военного округа «На боевом посту», несколько своих стихотворений.

Они были довольно быстро напечатаны, а я вскоре получил письмо из редакции. Короткое, но ободряющее, очень теплое:

«Ваши стихи мне и моим товарищам нравятся. Желаем Вам успешной и плодотворной работы. Надеюсь, что и в боевой подготовке Вы добиваетесь таких же успехов, как и в поэзии. У нас затевается сборник стихотворений о Великой Отечественной войне — присылайте!

Жму руку, Иван Молчанов».

Письмо окрылило меня. Я уже знал, кто такой Иван Молчанов, слышал о выпущенной под его руководством «Базе курносых», о его переписке и встречах с Горьким, читал его стихи — в газетах, в альманахе «Новая Сибирь». Стихи, особенно о Байкале, о сибиряках, мне нравились своей суровой простотой, искренностью и глубокой лиричностью. Они были чисты и прозрачны. Как ангарская вода.

Обрадованный теплым отзывом, я собрал все свои солдатские стихи и отправил их в Читу. Ответ не заставил себя ждать. С замиранием сердца распечатал я конверт и вынул большое, обстоятельное письмо. В каждом слове чувствовалась забота, казалось, что с тобой беседует человек, который знает тебя давным-давно и очень беспокоится о твоей судьбе.

Иван Иванович откровенно указывал на недостатки присланных стихотворений, отмечал удачи, вел разговор по настоящему большому литературному счету.

«...То, что Вам удалось почувствовать и передать в стихах, посвященных Забайкалью, отсутствует в стихах о войне. Они чересчур декларативны. Будьте тем, кем Вы являетесь,— лирическим поэтом. Лирика, героика, романтика — это Ваше. Вы хорошо чувствуете природу и умеете взглянуть на нее глазами человека наших дней... Готовьте сборник и посылайте его в Иркутск, прямо в издательство. Вас уже знают там по стихам, включенным в сборник произведений красноармейских поэтов. Надеюсь, что скоро встретимся или в Чите, или в Вашей части».

Нужно ли говорить, как счастлив был я. И как был благодарен новому другу, человеку, который радушно протянул мне руку помощи и поддержки.

И тогда и впоследствии меня удивляла душевная щедрость Ивана Ивановича: не жалея ни сил, ни времени, он открывал новые поэтические силы, пристраивал стихи своих «подопечных» в сборники и альманахи, давал им путевку в литературу. Его страстным желанием было иметь в Сибири больше поэтов — хороших и разных. Сколько умных, обстоятельных писем разослано им молодежи, внимательных и дружеских. Он помогал начинающим всем, чем был богат.

А главным богатством его было большое сердце. Люди чувствовали это и тянулись к нему — за советом, за поддержкой, со стихами и рассказами, а то и просто с беседой по душам. В маленькой комнатке в Чите, где он жил под самой крышей вместе с Георгием Мокеевичем Марковым, всегда было людно, шумно и весело.

Проторил и я туда дорожку.

Но вначале была первая встреча...

Я робко переступил своими кирзовыми сапожищами порог комнаты и представился по-военному: «Сержант Дружинин прибыл на совещание».

— Так вот ты какой!— Высокий офицер дружески, совсем по-штатски протянул мне руку.— Здравствуй, здравствуй! Проходи и садись! Шинель и прочие армейские атрибуты на вешалку!

Мое стеснение через несколько минут прошло, и я почувствовал себя свободно и непринужденно.

— Присаживайся к столу — не стесняйся!

Иван Иванович заботливо пододвинул мне стул.

— Сейчас будем есть картошку жареную На рыбьем жире, за неимением масла. Не приходилось?

Я сознался, что не приходилось и что рыбий жир недолюбливаю с детства.

— Так то в детстве,— сразу посерьезнел Молчанов.— А сейчас война! Страшная... Трудная... Вот только что моя книжечка вышла в Иркутске — «Яблонька». Как написалась она? Был я в части одной. Познакомился с бойцом. У него детей фашисты убили, жену замучили. Просил походатайствовать, чтобы на фронт отправили. Сердце, говорит, жжет... Походатайствовал, конечно. Пишет мне с Запада. Врага бьет без жалости: за жену, за детей, за погубленную яблоньку у дома. Ну, ты сам прочитаешь. Подарю тебе авторский.

Мы ели жареную на рыбьем жире картошку, которая оказалась очень вкусной, и говорили о войне и стихах. Как сейчас помню его высокий лоб, крутые надбровья, а под ними — изумительно ясные голубые глаза. Руки большие, рабочие, голос мягкий, чуть глуховатый.

— Я тут беседовал с товарищами,— сказал мне на прощание Иван Иванович,— возможно, перетащим тебя в газету. Писатели сейчас нужны — хоть и война.

Я шел от Молчанова в приподнятом, восторженном настроении, то и дело останавливаясь и перелистывая подаренную им мне книгу.

Эта книга до сих пор хранится у меня — тоненький стихотворный сборничек военных лет. Стоит раскрыть его — передо мною встает заснеженная Чита, темно-серые щетинистые сопки и ярко освещенный зал Окружного Дома офицеров. На сцене — высокая фигура Ивана Ивановича. Он сначала выпустил нас — целый поэтический выводок — и лишь в конце, уступая настойчивым требованиям слушателей, прочитал стихотворение «Байкальским друзьям». Оно живет в памяти, напоминая о многом дорогом и, будь моя воля, открывал бы им «Избранное» Ивана Молчанова-Сибирского:

Да! С вами прожито немало —
Что ожидает впереди?
Приникнем ли к волнам Байкала,
К его трепещущей груди?

Услышим ли, всегда желанный,
Его рокочущий прибой.
И разглядим в дали туманной
Хребет прозрачно-голубой?

Потом в тайгу от сухостоя
Уйдем на несколько недель...
Пить воздух лучшего настоя:
Смола, цветы, грибная прель.

Шагать по тропам заповедным,
Взбираться ввысь,
Спускаться с круч.
И отыскать едва приметный
Сверкающий студеный ключ.

И эхо горное подхватит
Запевки ясные слова...
Ну, тоже, размечтался, хватит!
А почему мечтать некстати?
Мечты, как в море острова...

Пусть дали грозные туманны,
Пусть море бесится, ревет.
Мечты всегда, всегда желанны,
Они зовут идти вперед.

Да, с вами прожито немало,
Как хорошо друзей иметь!
Сойдемся ль вместе, как бывало,
Трудиться, радоваться, петь!?

Иван Иванович сдержал свое слово: через полгода я уже работал в газете «Героическая красноармейская». Газета была заслуженная и обстрелянная: она получила крещение и боевую славу в дни Халхингола.

В составе ее редакции в то горячее время были В. Ставский и К. Симонов. Для меня, начинающего военного журналиста, назначение в «Героичку», как ласково называли мы газету, было большой честью. И в первый день на новом месте я написал письмо, благодарное и восторженное, Ивану Молчанову-Сибирскому.

Я не предполагал, что нам придется вскоре вместе бок о бок трястись по маньчжурским дорогам, переваливать Хинган, до рассвета склоняться над материалом в номер. Мы с радостью восприняли известие, что на должность военного писателя к нам едет Иван Иванович. Особенно были довольны сибиряки: «Этот — наш! Байкальской породы!»

— Ну вот, мы и встретились, — сказал на вокзале Молчанов, крепко пожимая мне руку.— Сборник-то получили?

Сборник стихотворений красноармейских поэтов «На боевом посту», составителем которого был Иван Иванович, я получил — и все благодаря его заботам. Но ответить при встрече ничего не успел — поэта окружили старые друзья, бывалые воины, приятели по Иркутску. Я же стоял в стороне, вглядываясь в черты знакомого лица — Иван Иванович немного похудел, был озабочен, подтянут, предчувствие предстоящих тревожных событий настраивало его на новый — фронтовой лад.

А через несколько дней наша походная редакция переехала границу Маньчжурии. Армия шла через степи и пустыни Внутренней Монголии — на Хинган. Начался завершающий этап Великой Отечественной войны — разгром империалистической Японии.

Впереди были палящие пески Гоби, угрюмые громады Хингана, яростное сопротивление смертников-самураев и советский победный флаг над Порт-Артуром.

В этом трудном походе, когда пополам последний глоток воды, в чертовски опасной корреспондентской работе в передовых, наступающих частях («жив ты или помер, главное, чтоб в номер материал успел ты передать»), я полностью сумел оценить все обаяние Молчанова как человека. Он был старше всех в редакции по возрасту, по писательскому стажу. Но никто ни разу не ощутил с его стороны высокомерия или превосходства — Молчанову присуща была исключительная скромность, и мы видели в нем всегда и во всем настоящего товарища. Он не гнушался черновой газетной работой, добросовестней всех дежурил в типографии и, как бы ни уставал, встречал друзей широкой белозубой улыбкой, веселым блеском голубых глаз. Мы учились у него писать коротко, ясно и боевито: «чтобы солдату все было понятно!» Особенно ненавидел Иван Иванович различные стилистические выкрутасы и красивости. Тут он, при всей деликатности своей натуры, не выдерживал и решительно брался за карандаш: «Литературщину — прочь. За ней человека не видно!»

Стихи же его и песни, написанные в те дни и напечатанные в «Героической красноармейской», заучивались солдатами, пелись в частях.

Особенной популярностью пользовалась «Песня о Родине»:

Отчизна моя дорогая,
Ты сердцу солдата мила.
Высокие горы Китая
Приветствуют наши дела.

А как он умел петь и смеяться в минуты привалов, в часы отдыха! Пел он изумительно — с прекрасным ощущением мелодии. Закроет глаза, слегка закинет назад голову — и весь отдастся раздольному напеву.

А смеялся звонко, зажигающе и чисто — как ребенок.

Не эта ли чистота и непосредственность привлекали к нему самых различных людей и особенно детей.

Китайские ребятишки в селениях толпой окружали его, а он, могучий, широкоплечий, казался среди них белоголовым великаном — мудрым и добрым. Он раздавал им все, что было в походной сумке,— галеты, сахар, карандаши, подбрасывал в воздух черноглазых загорелых китайчат и ловко опускал их на землю.

— Какой трудолюбивый народ,— в раздумье говорил он,— каждый метр с любовью возделан.

И сразу же взгляд темнел, будто Байкал в бурю: «Раздели их японцы догола — нищета и бедность вокруг. Ну, ничего — жизнь теперь у них переменится. Не зря сюда пришли...»

И вот дни расставанья: после победы над Японией Иван Молчанов-Сибирский уезжал в Иркутск.

— Хочется в тайгу, паря,— мечтательно глядя вдаль — на Север, говорил он.— Поохотиться, порыбачить. А потом засесть — писать!»

Он с отцовской гордостью вынимал из кармана выгоревшей гимнастерки фотографию лобастого карапуза в матросской тельняшке: «Вот еще сибиряк растет! Без меня вымахал...»

Таким он и остался для меня — всегда живой: мой поэтический наставник, мой фронтовой товарищ Иван Молчанов-Сибирский.

А. Абрамович

ПОЭТ БОЛЬШОЙ, МНОГОГРАННЫЙ



Анатолий Сергеевич Ольхон... Каждого, кому приходилось с ним сталкиваться, неизменно поражали его жизнелюбие, бьющая ключом творческая энергия. Они выражались и в ненасытном стремлении познать ставшую для него родной Сибирь, и в постоянных творческих спорах с друзьями и товарищами по перу, и, главное, в создании множества художественных произведений самых различных жанров. Он по преимуществу — поэт, но и прозаик, и драматургия не чужда ему. А если немного пристальнее вглядеться в его поэтическое творчество, то и оно оказывается чрезвычайно многогранным: тут и эпические произведения, и лирические, многочисленные переводы прозы и стихов, а также фольклора с языков народов и народностей Сибири и Дальнего Севера, тут и сказки для детей, и сатира. На каждый год из четверти века, прожитой А. Ольхоном в Иркутске, приходится примерно по одной опубликованной книжке.

Поэта без всяких преувеличений можно назвать однолюбом. Он сам любил повторять: «Я — человек, смотрящий прежде всего на север!» И действительно, уже первый сборник стихов А. Ольхона, изданный в Вологде в 1926 году, имел многозначительное название «Тундра». С тех пор люди и природа Сибири и Дальнего севера на всю жизнь вошли в сердце поэта и неизменно рождали глубокие чувства, раскрывавшиеся затем в проникновенных стихах.

Правда, в первой своей книжке А. Ольхон, естественно, не смог проявить той широты поэтического кругозора, которой овладел впоследствии. В сборнике «Тундра» заметны элементы описательности, увлечение внешней «экзотикой» севера, этнографическими деталями. Не овладел поэт тогда и поэтическим мастерством. Но уже сказывалось его стремление к оценке явлений современности (стихотворения «Зима», «Утро в гавани», «Мурманск»).

В середине тех же 20-х годов поэту стало ясно, что без понимания истории трудно понять и современность. В стихотворении «Былина вологодская» (1926 г.) поэт изображает «черные годы» порабощения русского народа царями и боярами. В следующем году такие произведения, как «Из прошлого», «Утоли моя печали», «Станция «Плесецкая», посвящены теме гражданской войны.

Глубокий интерес к революционному прошлому нашего народа поэт пронес через всю свою жизнь. Он настойчиво повторял, что «...без знакомства с Радищевым, декабристами, Чернышевским, «областниками» нельзя понять, как Сибирь старая превратилась в Сибирь новую, советскую, как складывался здесь характер человека нашей эпохи». Будучи уже зрелым художником, А. Ольхон создал такие талантливые произведения в историческом жанре, как «Ведомость о секретном преступнике Чернышевском за 1862—1883 годы...», циклы стихов «Сибирь — царева вотчина», «Огни Витимской тайги», «Сибирь — партизанская родина», «Старый якутский тракт», драму «Вилюйский узник», прозаическую повесть «Большевик Костюшко-Валюжанич».

Рассказав о жизни народа в дореволюционной Сибири, о каторжных и ссыльных по царскому повелению и «вольной каторге» для тружеников городов и деревень, о революции и гражданской войне, А. Ольхон в одном из наиболее сильных своих стихотворений «Памятник Хамар-Дабанскому отряду» протягивает прочную нить от прошлого к настоящему, настойчиво подчеркивает, что народные жертвы в прошлом учат нас, как надо жить в настоящем и будущем:

Здесь клятву дай и мужеству учись!
Седому камню, кто б ты ни был, поклонись!
Любовь и ненависть на память позови,
Чтобы огонь горел в твоей крови.

Но А. Ольхон был поэтом в полном смысле этого слова современным. Абсолютное большинство его произведений, в том числе в таких важных итоговых сборниках, как «Байкал» и «Избранное», посвящено героям Сибири, их созидательной работе. Об этом свидетельствуют даже сами названия циклов «Много славных людей на байкальской земле», «Мои байкальские знакомцы» и названия стихотворений «Зимняя путина», «Сплав леса», «Омулевый лов», «Охотник», «Настенька-рыбачка», «Поликарп Двоедан — сетовщик-бригадир» и др. Образы героев всегда выступают на фоне могучей сибирской природы, а сами они наделены крепкой сибирской хваткой, энергией и отвагой. Живому восприятию образа содействуют богатые речевые средства поэта, который широко, но с художественной мерой использовал разговорные, просторечные слова и выражения.

Тема положительного героя современности решена А. Ольхоном верно и глубоко еще и потому, что, следуя принципам социалистической эстетики, он сумел раскрыть прекрасное в труде советских людей. Всякий, кто прочтет такие стихотворения, как «Послание с Байкала», «Омулевый лов», «Охотник», увидит, что поэту совершенно чужда манера общего патетического выражения темы или излишние «производственные» подробности.

У поэта, столь живо и непосредственно откликавшегося на важнейшие события в жизни русских людей-сибиряков, была щедрая душа. Одновременно являлся певцом и многих народов и народностей севера и востока нашей страны. И в этой области его наследие необычайно богато. Его перу принадлежат «Якутские волшебные сказки», «Сказки дальнего севера», переводы из якутских поэтов (А. Кулаковский, М. Тимофеев-Терешкин и др.), из бурятских поэтов (Хоца Намсараев, Намжил Балдано и др.), переводы песен баунтовских, витимских, олекминских эвенков, ненцев, чукчей.

С огромным подъемом работал А. Ольхон в дни Великой Отечественной войны. За четыре военных года он опубликовал три книжки стихов, несколько сборников агитационных и сатирических произведений («Сухой порох», «Красная ракета», «Глубокий тыл»), написал стихотворные тексты для 300 плакатов «Иркутских агитокон», опубликовал две книги переводов якутских импровизаций «Якуты на войне» и «Якуты в тылу». Произведения его печатались в десятках областных, краевых газет и во фронтовой части. В этот период особенно широко развивается в поэзии А. Ольхона сатирический жанр, и понятно, почему: острие разящей сатиры было направлено против немецко-фашистских захватчиков. Однако он создавал одновременно эпические и лирические стихи, посвященные героям фронта и тыла. Среди них можно выделить такие, как «Идут эшелоны», «Другу, уезжающему на фронт», «Моим сибирским друзьям», «Баяндай», «Яблоня», «Желтый чалдон» и др.

После войны поэт вновь вернулся к своей излюбленной теме созидания, теме утверждения коммунистического будущего. Снова в таких сборниках, как «Падунский порог», «Окраины милой отчизны», появляется наш герой-современник, но теперь выходящий на

новые рубежи. В стихотворении «На новой трассе пятилетки» А. Ольхон писал: «Я вижу нашу Пятилетку в труде ровесников моих, в том, что пишу я этот стих, готовясь в авиаразведку...»

Поэт вынашивал новые планы, разрабатывал маршруты новых поездок от Иркутска до Владивостока и от Саян до Заполярья, но осуществить задуманное ему не удалось: помешала болезнь и безвременная смерть. Предчувствуя ее приближение, А. Ольхон стойко сопротивлялся. У него, как и у других поэтов, есть сокровенные строки, предназначенные для читателей, но одновременно выражающие и свое глубоко личное, что особенно дорого его душе, наиболее созвучно его мироощущению. Эти строки заключены в стихотворении «Рыбачья песня», и он любил их повторять, особенно когда пыталась одержать над ним верх жестокая болезнь, мучившая его в последние годы:

С четырех сторон морянка
Захватила, закачала:
Штормовая лихоманка.
Загуляла вдоль Байкала.
Поддержись, рыбачья сила!
Маяки кричат в затоне:
«Мать-земля тебя носила,
Мать-вода тебя не тронет».

«Поддержись, рыбачья сила!» — требовал от себя поэт до самого конца своей жизни. Он ушел от нас в полном расцвете своих сил, но ушел мужественным, несломленным. Лишь в этом году ему исполнилось бы 60 лет, а наследия, которое он оставил, хватит на пятерых художников. И остается лишь пожалеть, что только в Иркутске, после смерти А. Ольхона издан сборник его стихов, а центральные издательства несправедливо забыли о большом, многогранном таланте, о произведениях поэта, которые очень нужны нашим читателям.

Анатолий Ольхон

ПРОЛОГ К ПОЭМЕ „АГНИЯ"

Ты мне часто снишься нынче снова,
(Или снится молодость моя?)
Беспощадна ты была, сурова.
Что ж сегодня хочешь от меня?

Или я совсем неблагодарен,
На любовь твою не отзовусь?
Сероглазый, вологодский парень —
Разве я таким тебе приснюсь?

Подмастерье песенного дела,
Не чужой тебе и не родной.
И любовь моя не поседела,
Только волос тронут сединой.

В сорок лет о встрече не мечтаешь.
Я теперь к тому же — инвалид,
Ты меня навряд ли и признаешь —
Так давно мне сердце говорит.

В сорок лет, прости мою причуду,
Никогда не трону твой покой
И тебя до смерти не забуду,
Но во сне меня не беспокой.

Забайкалье, 1942

Незваным гостем за твоим столом
Не сяду больше ни зимой, ни летом.
И вспоминать не стану о былом,
Когда я звал себя твоим поэтом.

Не поцелую и не прикоснусь к руке.
Бессонной ночью вновь не загорюю.
В моем сибирском снежном уголке
Я только выдумал тебя — другую.

Я только «выдумал»... холодные слова!
Твои, слова, прошедшие сквозь годы.
И все-таки я рад, что ты жива,
Что песня не погибла от невзгоды.

Рассвет угрюмый в стекла бьет крылом,
Седая туча тянет покрывало...
Да, места нет мне за твоим столом,
Как раньше в сердце места не бывало.

Пусть в мире не было такой,
Какую вижу я, —
Но ты приснилась мне весной,
Фантазия моя.

И если вымыслы живут,
То будешь жить и ты!
В разлуке снова зацветут
Прощальные цветы.

Есть в сердце бедный огонек.
Я сохранил его.
Я позабыть тебя не мог,
Не знаю — отчего.

Не двадцать дней, а двадцать лет
Живет моя любовь.
Предзимних дней вечерний свет
Теплом повеял вновь.

И пусть ты выдумана мной,
Таясь и не тая.
На всех путях тропы земной
Ты навсегда — моя!

ВЕСНА В БУРУЛЬЗАЕ

Белокрылой птицей над горами
Предвесенний, радующий день.
Молодыми острыми рогами
Постучался в юрту мой олень.

Выхожу, а солнце мне навстречу
Протянуло теплые лучи.
— Здравствуй, друг мой, — солнцу я отвечу,
И олень копытом застучит.

Положу седло по кумулану,
Кушаком заправлю голубым,
Перекину за плечи бердану
И поеду в гости на Витим...

Там живет хорошая, такая —
Поневоле можно полюбить:
Соболиной бровью засверкает,
Как увидишь — долго не забыть.

Вот приду и встану на пороге,
Расстелю цветистый кумулан.
Если ей со мною по дороге,
То с женой приеду на суглан.

Подарю ей шкуру горностая,
Коготь рыси, лебедя крыло,
Чтобы, вместе с песней вырастая,
Наше счастье солнцем расцвело.

1936
Поселок Бурульзай в Витимской тайге

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

В черном небе
Даль в огне,
Лунный гребень
Снится мне.
Под горами,
Ледниками
Белый лебедь
На волне.

Покачнулся
Небосвод.
Вихрь метнулся
Зыбью вод.
Цветом радуг,
Желтым градом,
Развернулся
Сад высот.

В тундре стылой
Мертвый сон,
Чайки взмыли
На затон.
Над волнами
Бьют крылами,
Расцветили
Черный склон.

Тучи гаснут
Все сильней.
Пена красная
Бледней...

Искры тают,
Облетают
В свете ясном
Новых дней.

1927
Сборник «Тундра».

Критика и библиография

Ю. Томский

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ

Эта зеленая книжица в руках — как бокал с неизвестным вином. Даже страшно пробовать на вкус. И первое ощущение почти ничего не объясняет. Строки мгновенными легкими штрихами набрасывают облик автора. Вот они, контуры видящегося мне портрета. У этой женщины глаза внимательные и отрешенные. Они видят многое в том, на что смотрят, и могут не замечать еще большего рядом, если их это не интересует. Нет, дочитав последнее слово, я не стал биться лбом о стену и кричать о собственной тупости и о том, что лишь теперь на меня снизошло прозрение.

Многое показалось даже наивным:

Нам бы рядом с тобой идти.
Через все дороги подряд.

О сколько раз я почти слово в слово слышал то же самое.

Сердцу покой не важен,
Сердце никто не свяжет.

А это сколько раз сообщали нам любимые или забытые книги.

Иногда образы кажутся негативом с почти стершимися изображениями, так они неявственны.

Горами, реками, долинами,
Чудесными утрами ранними
Меня вели путями длинными
Сердца, не понятые ранее.

И дальше ниточка обрывается: и какими все-таки путями, и куда же автора привели эти «не понятые ранее» и, видимо, открывшиеся ему сердца? (Впрочем, может быть, это мое недомыслие?)

Рифмы порой просто коробили: мгле — земле, непрошено — хорошего, любые — голубые.

Тем более, что это чередовалось даже с огрехами вкуса: «Золоченые стрелки время мнут».

Такое ажурное, такое миниатюрное создание семантического и морфологического смысла, как золоченые стрелки — и вдруг — мнут. Для того чтобы мять, надо несколько больше весить.

И еще огорчали речи с рифмованной беллетристикой вместо поэзии (это информация о молодой комсомолке — «Таежница» — или банальная попытка передать мысли учительницы — «Первая учительница». Уж очень это все было).

Но почему же не оторвать глаз от стихов? Отчего же иногда зазвенит внутри напрягшаяся высокая струна волнения?

Строки вдруг ушибают, они наполнены инстинктивной бродяжьей маятой, колким обдирающим ветром скитаний:

«У ветра на сосновом перегоне
Просмолены горячие ладони».

«А ветры таежных привалов
Ночными кострами горчат».

«Нас опять ветра из дому выжили,
Повели осеннею землей».

Густо выпирает из стихов Сибирь: хвойными запахами, пламенем багульника, гулом великих просторов.

И все это через очень свои, очень тонкие ощущения. Оказывается, глухомань — совсем не то привычное, тяжелое, темное нечто; оказывается, для зоркого и родного ей глаза глухомань может быть доброй и удивительной родиной:

Ты зовешь. Ты уже никуда не отпустишь.
В сердце свежесть твою берегу.

Счастья жизни моей там истоки и устья,
Где остались следы на снегу.

Последняя фраза громоздка, но в целом — это уже откровение.

Тайга — тема, тайга — это образы, использованные в стихах. Она близкая, изученная, родственно щедрая.

Мне ночами снится не зря
Над рекой перевал крутой,
Где таежная пьет заря
Сизых сосен густой настой.

И сочетается это иногда с почти ювелирной работой по слову:

Я недаром в эту рань проснулась
Сосчитать весенние лета.
Это снова губ моих коснулась
Горечь тополиного листа.

Ни слова не выкинуть из этой песни. И рядом с очень точно переданной прозрачной мыслью — подтекст.

Особенно задевает Светлана, когда она — о своем, о личном. О том миллионажды обруганном критикой, исполосованном плетьми редакторов личном, которое всегда было общественным — о любви, о горе, о счастье:

Ты видишь, любимый, тебя я сильнее,
Меня не сломать налетевшему горю.
Я выстою в бурю, я с тучей поспорю.
Ты слышишь? Ты веришь?

Как полновесно, почти надменно — о собственной силе, и такой трепетный оклик в конце.

А иногда так ударят в сердце строки пронзительным безрассудным водоворотом тоски, нежности, горечи:

Разбудите меня, тревоги,
Уведите меня, тревоги,
В те места, что близки навеки...
...где над озером крики чаек,
где рассветы мы с ним встречали,
где туман по низинам легкий,
там живет без меня далекий,
там брусники ярки рубины,
там не помнит меня любимый.

И в чередовании тем — мастерство. Но не холодное мастерство искусника, а мастерство поэта, умеющего вскрикнуть так глубоко и горько и так точно донести это до нас.

А как вольна, бесстрашна, радостна любовь в этих стихах!

Где-то там еще, по тающему льду,
Я иду к тебе, иду к тебе, иду.
....Я иду, над осторожностью смеюсь,
Я иду и поскользнуться не боюсь.
...По последнему, по тоненькому льду
Я в последний раз доверчиво иду.

Сколько интонаций! И сколько женственной, такой женственной гордыни!

Да, огромное качество есть у этих стихов. Это стихи женственные и женские.

Холодный ветер краски леса стер,
И долго теплый дождик шел потом.
Давай зажжем на берегу костер
На северном, на тихом, на пустом.

Этот прислушивающийся к окружающему ритм, это раздумье и какая-то печальная умудренность. Нет, мужчина так сказать не смог бы.

И ведь если въедливо разобрать — ничего особенного нет здесь: ни большой мысли, ни большой страсти. А от стиха этого так щемит сердце, словно кто-то взял его на ладонь и то сожмет, то погладит.

И, собирая в горсть все, что дали мне стихи Светланы Кузнецовой, вдруг чувствую целые сонмы запахов цветов, оттенков.

Очень естественно, очень полно проливающаяся в словах и в ритмах русского языка поэтесса живет в Иркутске. И радостно это.

Л. Ермолинский

ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

400 лет назад — в апреле 1563 года — в Москве начал работать первый печатный станок. Оттиски «Апостола», полученные в типографии Ивана Федорова, открыли новую эру в истории русской культуры.

Более двух столетий потребовалось на то, чтобы печатное дело перестало быть монополией столиц. Не многим известно, что одной из первых типографий, основанных в провинции, была сибирская типография.

* * *

В 1703 году митрополит тобольский Филофей Лещинский, открывая первую в Сибири школу, посылает в Москву Петру Первому челобитную. «А для детского учения,— просит Лещинский, — завести друкарню (типографию) в Тобольске, в Софийском дому Великого Государя казною, а друковать (печатать) буквари, часословы малые и псалтыри».[1]

То была ранняя попытка основать в Сибири печатное дело.

Трудно назвать причины, побудившие Петра отказать тобольскому митрополиту. Основатель первой русской газеты «Ведомости» (газета «Ведомости» вышла в свет годом раньше, в декабре 1702 года) считал, вероятно, и не без оснований, существовавшую в России полиграфическую базу достаточной для «друкования» и букварей и малых часословов.

Характерно: десятилетием позже, переводя «Ведомости» из Москвы в северную столицу, Петр не заказывает нового полиграфического оборудования, а шлет приказ Мусину-Пушкину: «станок друкарный с новыми литерами извольте сюда прислать по первому зимнему пути со всем, что к нему принадлежит, также и с людьми». Вероятно, и упоминание в челобитной Филофея Лещинского о «Великого Государя казне» не по душе пришлось Петру, занятому в ту пору Северной войной и обширными государственными преобразованиями.

Пройдет без малого столетие. Только в 1789 году сойдут первые оттиски с сибирского печатного станка. И первой книгой станет не часослов, не псалтырь, не Апостол, а «Училище любви» — английская повесть в переводе с французского языка.

Так в конце восемнадцатого века заявит о себе сибирский печатный станок, установленный в «вольной» типографии Василия Корнильева в Тобольске.

* * *

Старый Тобольск гордился пышным титулом столицы сибирского царства, белокаменными церквями (то были первые каменные строения в Сибири), двенадцатипудовой иконой Вседержителя, малиновым звоном увесистых колоколов и обширным списком опальных вельмож и других «замечательных личностей из категории ссыльных».

Колокола дарили Тобольску московские самодержцы. «От царя Федора Алексеевича — колокол в сто шестьдесят пудов, от Иоана Алексеевича — в сто три пуда», — констатируют летописцы. Даже Петр Алексеевич, знавший меди лучшее применение, не устоял перед соблазном и «высочайше пожа-

[1] Челобитная митрополита Сибирского и Тобольского Ф. Лещинского («Тобольские губернские ведомости » за 1859 год).

ловал» дальней своей вотчине сорокапудовый колокол амстердамской работы.

Впрочем, «малиновую медь» не только жаловали, но и... ссылали. По преданию, знаменитый тобольский Карнаухий колокол бил некогда набат в древнем Угличе по «убиенном» царевиче Дмитрии. В 1593 году Борис Годунов «сослал» колокол в только что приращенную сибирскую землицу.

Из того же источника пополнял Тобольск и обширный список «личностей из категории ссыльных». Лекарь Фидлер — от Василия Шуйского, Мария Хлопова — невеста царя — от Михаила Романова, гетманы Демьян Многогрешный и Иван Самойлович — от «тишайшего» Алексея Михайловича, «сиятельный» Александр Данилович Меньшиков — от Петра второго и так далее.

Сообщая о предметах гордости столицы Сибирского царства, летописцы педантично пересчитывают изумруды и яхонты «чудотворных» икон, до фунта, до золотника выверяют вес достопамятной колокольной меди. Лишь вскользь поминают они о подлинной гордости древнего города — первом в Сибири печатном станке.

Столь же скупы и редки сведения о тобольском первопечатнике. Известно: был он первой гильдии купцом и «бумажной фабрики фабрикантом». Воспользовавшись либеральным екатерининским указом 1783 года, разрешившим вольные (частные) типографии, завел полиграфическое дело «своим коштом» (т. е на свои средства). Его замыслы — свидетельствует о том указ Тобольского наместнического правления от 5 апреля 1789 г., известивший об открытии типографии, — достаточно пространны: «Печатание книг на Российском диалекте, и впредь стараться будет на разных иностранных».[1]

Из того же указа известно: «Училище любви» — первое детище тобольского печатного станка — родилось в великих муках. Ему суждено было пройти не только обычную в те поры гражданскую, но и духовную цензуры. Лишь после того как власти духовные засвидетельствовали, что «никакого в ней касательно до Божества противоречья не оказалось», а Управа благочиния установила, что «ничего же в противность относящегося государственным узакониям не найдено», повесть, переведенная ссыльным поселенцем Панкратием Платоновичем Сумароковым, «отдана напечатать... с тем, чтобы оную в публику пустит».

В том же 1789 году «Училище любви» выходит в свет.

Трудно судить о литературных вкусах основателя первой сибирской типографии, но чутье на читательский спрос не обмануло «бумажной фабрики фабриканта». Очень скоро тираж заурядной повести полностью разошелся (явление в ту пору довольно редкое). А спустя два года (1791 г.) Василий Корнильев выпускает «Училище любви» повторным изданием.

* * *

В сентябре того же 1789 года произошло событие, положившее начало сибирской периодической печати: из типографии Корнильева вышел первый номер первого в Сибири журнала. На титульном листе под заглавием журнала — «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», помещен эпиграф:

«Развязывая ум и руки,
Велит любить торги, науки,
И счастье дома находить».

И указан издатель: Тобольское главное народное училище.

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену», стал вторым и единственным в ту пору журналом, издававшимся в провинции. Из периодических изданий, выходивших на периферии, ему предшествовал лишь журнал «Уединенный пошехонец», издававшийся в Ярославле в 1786 и 1787 годах.

Периодическая печать медленно пробивала дорогу в провинцию. Царское правительство, мирясь, а иногда и поощряя периодику Петербурга и Москвы, остерегалось давать ход газетам и журналам провинциальным: слишком были удалены они от опеки и цензуры. Показательно, что первые газеты в провинции — «Казанские известия», «Восточные известия» (Астрахань) — появились лишь во втором десятилетии девятнадцатого века.

«Иртыш», а позднее «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей», издававшаяся в Тобольске П. П. Сумароковым, стали, таким образом, первыми ласточками провинциальной периодической печати. Лишь через десять лет после открытия сумароковской «Библиотеки» выйдет (1804 г.) следующий провинциальный журнал «Урания» в Калуге.

Программа «Иртыша», весьма, впрочем, неопределенно сформулирована в предисловии к первой, сентябрьской, книжке журнала: «Находя весьма нужным доставить учителям свойственное званию их упражнение, посред-

---

[1] Указ Тобольского наместнического правления от 5 апреля 1789 г.

ством которого достигли бы они дальнейших способностей... Тобольское главное народное училище предприняло издавать ежемесячник, наполняя оный всякого рода сочинениями... и переводами в стихах и прозе».

Издатели обещали, впрочем, сделать журнал «достойным внимания почтенных оного читателей» и приглашали «любителей наук» «сочинения свои и переводы помещать в ежемесячнике».

Любители наук, а в особенности любители стихосложения, не замедлят откликнуться на приглашение. Вскоре в «Иртыш» вольются новые притоки. И если первый сибирский журнал два года спустя прекратит существование, то произойдет, это отнюдь не по недостатку сотрудников, а лишь по недостатку читателей.

Среди многочисленных авторов, откликнувшихся на предложение «Иртыша», интересно отметить учителя Иркутского главного народного училища Бельшова. «Речь» Бельшова, помещенная в июньской книжке журнала за 1791 год, — первое, быть может, выступление нашего земляка в сибирской периодической печати.

«Иртыш» представлял собой издание, типичное для периодики той эпохи. Деления на отделы журнал не имел (это новшество ввел Н. М. Карамзин в своем «Московском журнале» в 1791 году). Поэтому элегии, стансы, эпиграммы, загадки и прочие «свойственные званию» тобольских учителей рифмованные и нерифмованные «упражнения» самым затейливым образом перемежаются на страницах «Иртыша» с торжественными речами, отрывками из переводных повестей и учеными рассуждениями.

В разделе оригинальных произведений первого сибирского ежемесячника преобладала поэзия. В поэзии доминировали стихи, не превышавшие уровня посредственных ученических упражнений. Характерным примером этого рода творчества могут служить длиннейшие «Елегии» тобольского учителя Ивана Лафинова.

Во второй книжке «Иртыша» за 1789 г.:

Итак, надежды нет с возлюбленной
мне быть,
Нельзя потеряны успехи возвратить.
Иному суждено красой сей восхищаться,
Иного ей любить, иным, не мной
прельщаться!
...Дрожайшая, на что меня ты полюбила,
Почто сей страстный жар
Несчастному открыла...[1]

[1] «Иртыш», октябрь, 1789 г.

Излив свои горести и муки, поэт, достигший, надо полагать, больших успехов в преподавании истории и географии, чем он и занимался в тобольском училище, в очередном номере журнала продолжает свою «Елегию»:

О боже мой! Что я! Что сделалось
со мной!
Где делся сладостной души моей покой!
...Дрожайшая... и т. д.[1]

К числу ведущих поэтов «Иртыша» относится, бесспорно, ссыльный поселенец П. П. Сумароков, опубликовавший в разное время в журнале около сорока стихотворений, басен, эпиграмм, а также единственную в «Иртыше» и очень слабую поэму «Лишенный зрения Купидон».

В журнале приняла участие и сестра Сумарокова — Наталья Платоновна, последовавшая за братом в сибирскую ссылку. Она публикует несколько эпиграмм, в том числе любопытную эпитафию судье:

Лежащий здесь судья, по имени Дамон,
Спал мало и почти всегда в бумагах рылся.
Но больше прибыли гораздо сделал он,
Когда бы время то, в которое трудился,
Употребил на сон.[2]

Среди поэтов первого сибирского журнала выделяется Иван Иванович Бахтин — мужественный обличитель злоупотреблений помещиков. Антикрепостнические тенденции поэта проявляются ярко, и его стихи можно поставить в один ряд с лучшими произведениями русской обличительной поэзии восемнадцатого столетия.

Эпиграммы Бахтина полны сарказма:

Как будто за разбой вчерашнего дня, Фрол,
Боярин твой тебя порол,
Но ништо плут тебе, ведь сек он не без дела,
Ты чашку чаю нес, а муха в чай влетела.[3]

Обличения Бахтина резки и беспощадны. Встав на защиту крестьян, автор обращается в одной из сатир к «злонравным» помещикам:

А вы, что за скотов подобных вам приемля,
Ни бедных жалобе, ни воплю их не внемля,
Употребляя власть, вам данную, во зло,
На всяк день множите несчастливых число!
...Вы вместо, чтобы быть подвластных
вам отцами,
Над нами злобствуя, как волки над овцами,
Преобразили в их мучителей себя.[4]

...Раздел оригинальной прозы представлен в первом сибирском журнале значительно слабее. Кроме упомянутых уже речей, произнесенных учителями Тобольского главного на-

[1] «Иртыш», ноябрь, 1789 г.
[2] «Иртыш», май 1790 г.
[3] «Иртыш», октябрь, 1791 г.
[4] «Иртыш», январь, 1790 г.

родного училища в разное время и по разным поводам, в ежемесячнике помещены сатирическая статья учителя Вознесенского «Сновидения», несколько ученых рассуждений Прудковского и ряд небольших прозаических упражнений неизвестных авторов.

Преобладают в журнале переводы. В этом, самом крупном разделе «Иртыша», как ни в каком другом, отчетливо проявлялись основные недостатки периодического издания, задуманного как средство упражнений, «достойных звания учителей»: его бессистемность, отвлеченность, отсутствие сколько-нибудь видимого направления (недостатки, впрочем, свойственны не только «Иртышу», но и многим столичным периодическим изданиям той эпохи. Достаточно вспомнить, например, характерные названия журналов «Ни то ни се», «И то и се» и т. д.).

Переводы с латинского, немецкого, французского и даже персидского языков принадлежат в большей части тем же учителям Тобольского училища, а также П. Сумарокову, Иванову, Маметову и другим приглашенным авторам.

Пестрая смесь литературных, философских, исторических, теологических, политических сочинений — таковы переводы «Иртыша». Изредка встречаются среди них статьи, относящиеся к медицине, металлургии и другим отраслям знаний. Вот несколько названий переводов, в разное время помещенных на страницах сибирского еженедельника: «Из оснований Ньютоновой философии о том, каким образом познаем мы расстояния, величины, виды и положения предметов»; «Ответ на вопрос, какое время года было тогда в раю и у нас, когда создан был свет»; «Речь македонского царя Филиппа второго к детям своим»; «Как выгоднее на медеплавильном заводе переплавлять медные руды»; «Мнения магометян о смерти пророка Моисея»; «Караибская любовь» (повесть, перевод с французского); «Описание лечения одного молодого человека, которого укусила бешеная собака» и т. д.

...Журнал «Иртыш», превращающийся в Ипокрену», выходил ежемесячно книжками небольшого формата в 60— 65 страниц, тиражом в 300 экземпляров. Однако и этот небольшой (характерный для того времени) тираж с трудом находил читателя.

В 1791 г. «Иртыш» имеет только сто шесть подписчиков и, несмотря на энергичные меры, предпринятые издателями «в отвращение гибели от мышеядия» скопившейся на складах продукции, дела издания не улучшаются.

Декабрьская книжка за 1791 г. была двадцать восьмой и последней книжкой журнала. «Иртыш» разделил участь большинства тогдашних периодических изданий: он был закрыт ввиду убыточности предприятия.

В 1793—1794 гг. энергичный П. П. Сумароков предпринимает издание еще одного журнала «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая, увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей». Но и «Библиотеку» вскоре постигла судьба первого сибирского ежемесячника. Недостаток грамотных людей давал себя чувствовать особенно в провинции. Читатель еще только формировался.

Спустя два года — в 1796 г.— первая сибирская типография Корнильева была закрыта. Екатерина II, напуганная просветительской деятельностью Н. И. Новикова, книгой Н. А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», поспешила запретить вольные типографии.

Такова история первого «вольного» Тобольского станка, положившего начало печати в Сибири.

Е. И. Шастина

ПРИРОДА И ХУДОЖНИК

«А вот вывезу из тайги могучую сосну, сделаю из нее музыкальный инструмент — и будет этот инструмент рассказывать о Сибири...»

В. Г. Короленко

Каждый человек по-своему чувствует природу.

Читая Пришвина, вы бродите едва заметными лесными тропами, слушаете разговоры родников, трепет листьев, наблюдаете удивительную жизнь, затаившуюся в зеленых чащах.

Картины Левитана наполняют вас тихой светлой грустью, как последний золотой шелест березовой рощи.

Вихрем рушится морской шквал Айвазовского, вселяя безумный восторг перед мощью стихии.

Прозрачными и легкими расцветают пейзажи Паустовского с его ручьями, где плещется форель, с горными лесами, в которых слышен шум прибоя, с его медленно падающим снегом.

А. Толстой высказал интересную мысль о том, что чувство природы — это чувство Родины. И тот, кто знакомится с пейзажами ранних произведений В. Я. Шишкова, не может не почувствовать всей прелести родной земли, потому что выполнены они с огромным мастерством и безграничной любовью к родине и ее народу.

В одном из рассказов В. Я. Шишкова читатель встречается с восьмидесятилетним тунгусом Отырконом. Вид старца жалок: обмотанные в какую-то рвань ноги, непокрытая голова, красные кисти рук, дрянное ружьишко с самодельной ложей... «Он нищ, убог, но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе»,— пишет Шишков.

Читателя поражает благородство и гордость этого лесного человека, который, несмотря на свою старческую беспомощность, не хочет идти «на кормление» к тунгусам: «Нога шагал, глаз смотрел, работай,— говорит он.— Пошто мешать людям? Людям и так совсем плохо есть. Каждому свой камень есть».

Отыркон знает, что скоро умрет, и спокойно утверждает это: «Сенкича! Я буду околевать весной в вершине Бирьякана». «Откуда знаешь?»— кричит ему Сенкича. Но Отыркон вначале не отвечает. Ему не нужны соболезнования и жалость, не для этого сказал он Сенкиче о месте и времени своей смерти.

«Будешь там кочевать, возьми ружье» — вот что беспокоит старика, человека трудовой жизни: чтобы не пропало ружье, вещь чрезвычайно нужная живому тунгусу.

Мироощущение этого «немощного старца», умение чувствовать себя частичкой вечной природы поистине удивительны. И В. Я. Шишков, завидуя Отыркону и, быть может, сам того не замечая, проникается той же философией нераздельности всего существующего.

Именно в этом народном чувстве, пронизывающем все картины сибирской природы в ранних рассказах Шишкова,— его неповтори-

мое своеобразие, совершенно отличающее писателя от его предшественников.

Как отмечает М. Азадовский, автором первого литературного пейзажа Сибири явился протопоп Аввакум. Он провел в Сибири самый тягостный период своей жизни. И сибирская природа в его представлении неотделима от тех бедствий и страданий, которые пришлось ему перенести. «Жутью и ужасом веет от его яркого и выпуклого рисунка: «О горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть — заломив голову»! [1]

Многими писателями и в XVIII и в XIX вв. Сибирь воспринимается как край ссылки и каторги. Особенно этому восприятию способствовали декабристы, в творчестве которых Сибирь изображается «страной метелей и снегов».

Несколько отлично изображение сибирского пейзажа у В. Г. Короленко. Но его пейзаж неотделим от человека, и поэтому, по замечанию Азадовского, «основным и центральным мотивом его сибирских впечатлений остается ощущение тоски и холода, сознание гиблости этой «холодной и равнодушной страны»[2].

Короленко пишет о берегах Лены: «...вы видите **трупы** деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы **судорожно скрюченными** корнями... Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвоя в сосновом лесу, а между ними еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастья **над трупами** предков. И только на ровной, будто обрезанной вершине лес сразу становится гуще и тянется длинной, темной, **траурной** каймой над белым скатом берега» [3].

Правда, можно встретить у Короленко и редкое любование сибирской природой, но это «грустное очарование», и все-таки сибирские картины полны для него «захватывающей грусти».

Короленко положил начало целой школе в изображении пейзажей Сибири. У В. Серошевского («На краю лесов», «Якутские рассказы» и др.), у С. Елпатьевского («В Сибири», «Очерки Сибири») нетрудно заметить тот же настрой, найти те же краски. Серошевский говорит о **«кладбище** леса», который «уныло скрипит и стонет», о лиственницах, «одетых **саваном** из мхов и лишаев», об «уродливо скрюченных, точно пальцы ступни **покойников,** сведенных **судорогою** насильственной **смерти»** корнях [1].

Но еще более странные высказывания можно встретить у Елпатьевского, которого приводит в ужас все то, что так восхищает нас, сибиряков. Он пишет: «Нужно представить себе, что **мрачный,** плотно сдвинувшийся лес протянулся до тундры, до самого моря... на тысячи верст... Все темное, мрачное. Мохнатый **угрюмый** кедр, **сумрачная** пихта... **печальная** красавица лиственница» [2].

Елпатьевский говорит о том, что это царство леса стесняет мысли человека, не дает им простору: «...не поется песня, не думается дума, не мечтается мечта. Глохнут старые песни, старые легенды, тухнут старые воспоминания, глохнет даже голос» [3].

И уже совсем курьезным, на наш взгляд, является рассуждение о том, что тайга кладет какой-то страшный отпечаток на человека, что она «заполняет» его. «Я знаю культурного человека, видавшего виды,— пишет Елпатьевский,— который искренне говорил мне, что не понимает жизни без тайги»[4].

И когда после книг упомянутых авторов, которые нашли для сибирских лесов лишь мрачные тусклые краски, раскрываешь том сибирских рассказов Шишкова, даже не верится, что писатель говорит в них о тех же самых местах — такое море света льется со страниц книги. Верно, в самом начале писательского пути Шишков, видимо, тоже испытывал некоторое влияние Короленко (очерк «Злосчастье», 1910 г.). Но оно было случайным и уже в ранних рассказах исчезло совсем. В. Я. Шишков выступил новатором в изображении природы Сибири, а значит, и воспринял он ее совершенно отлично от своих предшественников. Хотя некоторые из них (А. П. Чехов, И. А. Гончаров) и сумели найти светлые краски при изображении Сибири, они все-таки не смогли проникнуть в суть народных представлений о родном крае — богатейшей сибирской земле, это оказалось под силу В. Я. Шишкову.

В трактовке писателем тех или иных моментов, в его взгляде на явления, события, окружающую природу большую роль играют и обстоятельства и положение, в котором он находится. Писатели-декабристы, Короленко, Серошевский, Елпатьевский были ссыльны-

---

[1] М. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири. Вып. 1, Огиз, 1947, стр. 165—166.

[2] Там же, стр. 180.

[3] В. Г. Короленко. Ат-Даван. Избр. произведения, Гослитиздат, М., 1948, стр. 274.

[1] В. Серошевский. На краю лесов. Спб., 1897, стр. 1.

[2] С. Елпатьевский. В Сибири. Новосибирск, 1938, стр. 9.

[3] Там же, стр. 11.

[4] Там же, стр. 12.

ми, Чехов и Гончаров — путешественниками, Шишков же пришел в Сибирь как землепроходец-изыскатель и всем сердцем полюбил ее. Очерки и рассказы Вячеслава Яковлевича Шишкова родились в путешествиях по лесам и рекам Сибири. В них — все от жизни. «За свое двадцатилетнее пребывание в Сибири я вплотную столкнулся с ее природой и людьми во всем их любопытном и богатом разнообразии. Мои ежегодные путешествия с ранней весны до снега по рекам Иртышу, Оби, Катуни, Енисею, Чулыму, Лене, Нижней Тунгуске, Ангаре дали мне разносторонний бытовой материал»,— писал впоследствии В. Я. Шишков [1].

И еще: «...пишу о Сибири, думаю о ней, и буду писать и думать о второй моей родине, пока не иссякнет в пороховнице порох, пока не высохнет душа»[2].

Именно потому, что Сибирь сделалась второй родиной писателя, что он сумел узнать ее и, полюбив, проникся народным чувством в восприятии ее природы, ему было дано открыть читателю сказочную прелесть сибирского пейзажа. Его, как Короленко и протопопа Аввакума, поразила мощь и сила природы, но она уже не создавала ощущения гиблости и угнетенности, а восхищала. И это восхищение явилось вдохновляющим началом, которое сделало пейзажные картины В. Я. Шишкова мастерски неповторимыми, звучащими, как гимн жизни и вечной ее красоте.

Особенно знаменательны в этом отношении страницы, рисующие опасное путешествие по северной реке в 1911 г. («Холодный край»). Путникам грозит гибель среди безлюдья и приполярного холода, нервы их напряжены, души истомлены. Но в этот трудный час автор попадает в сказочно красивый лес и, подобно своему герою Отыркону, чувствует свою неразделимую связь с природой. Он слышит «нежный и радостный» говор пролетающих над головой гусей, видит, как «от костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор», как расцветают красные розы на белом снегу, когда на подснежную бруснику ступает нога и у нее изпод подошвы брызжет алая кровь. Человек, приговоренный к смерти, не стонет и не плачет. Он чувствует прилив сил. Он срывает и пробует спелые с беловатым пушком ягоды, нюхает пахнущий вечностью снег и «жадно следит» за грациозным пушистым зверьком. Человек полон жизнью окружающего его леса и как бы сам становится частицей этой вечной жизни.

Очевидно, в подобном восприятии природы как раз и заключена та «несокрушимая сила», которая так поразила писателя в лесном старце Отырконе. Эта «несокрушимая сила» философии писателя могла сложиться лишь в тесном общении с природой, с жизнью простых людей, со сказкой бабушки-крепостной, с мудрым народным характером. Она стала тем необходимым дополнением к мастерству художника, без которого было бы невозможно создать настолько яркие и зримые картины природы, какие встречаются в лучших произведениях В. Я. Шишкова.

Вспомните одно из них — повесть «Тайгу». Не зря большой писатель и друг Вячеслава Яковлевича К. Федин назвал это произведение романом-картиной [1].

И действительно, после прочтения повести остается такое чувство, как будто бы ты видел галерею удивительно живых картин.

Вот наступает утро. «Солнца еще нет, но и слепой, насторожившись душу, не ошибется, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело.

Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услыхать, но всяк чувствует.

Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: встрепенулась, открыла глазки и огласила утро трелью.

Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурлыкал. Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил ее — ага, утро!— встала, рявкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалку к ключу напиться...» [2]

Как же достигается такая удивительная яркость изображаемого? Многие страницы Шишкова кажутся зарисовками с натуры — настолько они зримы. Приведенный отрывок представляется нам именно таким. Малиновка, открывшая глазки навстречу утренней заре, сторожевой журавль, вдруг взмахнувший крыльями, медвежата, которые советуются глазами с матерью — во всех этих художественных деталях проникновенная наблюдательность художника, берущего свои картины как бы прямо из жизни. Но не только прием зарисовки с натуры, мастерство ху-

---

[1] В. Шишков. Избранное. «Сов. писатель», М., 1947, стр. 51.

[2] Архив Г. Н. Потанина, № 1206.

[1] К. Федин. Писатель, искусство, время. «Сов. писатель», М., 1961, стр. 234.

[2] Вячеслав Шишков. Собр. соч., т. 1, М., 1960.

дожественной детали (о которой еще будет идти речь) определяют живость изображаемого в повести «Тайга».

Дело в том, что все элементы пейзажа, показанные в этих зарисовках, не просто представляют природу и даже не только одухотворены, но именно по-шишковски очеловечены. В каждом пейзажном образе мы чувствуем характер, присущий только этому образу: будь то затрещавшая, заухавшая, вступившая в спор с человеком тайга, месяц, будто намасленный блинище, выглянувший из-за нее, или нарядная утренняя заря. И все эти образы природы живут и действуют, подобно живым существам.

Вот тайга, которая по весне «закурила, заколыхала свои кадильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелеными глазами» [1].

Над ней, над тайгой, «ветерок погуливает, шелестит хвоей, воздорит» [2].

Вот костер, зажженный бродягами ночью, в который набросали смолевый иней.

«Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, заискрились, распространяя жар и свет» [3].

И белые туманы, которые стоят в логах и распадках речки, тоже, как живые существа, раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зеленой щетке камыша? Но «пробрызнули лучи восхода и раздвинули ласково туман»[4].

Не только человечьи зеленые глаза тайги, живые языки пламени, раздумчивые туманы, ласковые лучи восхода создают такие зрительные, выпуклые картины.

Яркому восприятию способствует и то обстоятельство, что большинство пейзажей Шишкова в «Тайге»— это не только деревья, трава, речка, холмы и взгорки. Это вообще все, что окружает человека: звери и птицы, мир звуков и красок и даже детали быта. Такая слитность в одной картине чистого пейзажа со всеми окружающими человека компонентами, очевидно, идет от особого, уже упомянутого, чувства нераздельности жизни. И недаром бытовые элементы не просто вписаны в пейзаж, но как и образы природы тоже живут, тоже действуют заодно с человеком.

---

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 32.
[2] Там же, стр. 33.
[3] Там же, стр. 34.
[4] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 69.

Наступил в деревне Кедровке праздник, и «весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнем окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе **девушки**, и приросших к горе избушек. Повеселел бархат пасмурной тайги, засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым»[1].

К ночи же, когда собралась над деревней гроза, когда заволокли небо черные тучи, когда уже стало «не видать, где тайга, где небо», то «диким воем залилась собака» и старуха Мошна зажгла восковую свечку у иконы, единственный маленький огонек в темной и жуткой избе[2].

Вот эти вплетающиеся в пейзаж детали: веселые, вспыхнувшие солнечным лучом окна, дома, сцепившиеся друг с другом, живые, как девушки; засеребрившийся крест часовни, голубь, ставший вдруг розовым; собака, залившаяся диким воем в страшную ночь грозы, трепетный огонек свечки в избе суеверной старухи как раз и создают ту рельефную картинность, которая дала основание Федину назвать «Тайгу» «романом-картиной».

Чувство органического единства жизни в «Тайге» настолько велико, что подчас бывает не только трудно, но и почти невозможно отделить пейзаж от бытовых сцен, настолько они дополняют друг друга. Эти страницы хочется назвать **пейзажными сценами-картинами.** В этих сценах-картинах Шишков выступает перед нами тонким мастером художественной детали, каждая из которых всегда является необходимым мазком, дорисовывающим общую картину.

Вот одна из таких страниц: «Месяц высоко поднялся. На бугорке сидела собачонка пестренькая, смотрела на тайгу и, откинув назад левое ухо, полаивала: «Гав!.. Гав-гав...» Взлает так и поведет ухом, дожидаясь. И в тайге тихонько откликается: «Гав-гав-гав...» И тут же писатель рассказывает нам о том, как мечтает стянуть она поросячий бок, показывает, как подкрадывается к ней с поленом Митька-сопляк, как достается ему от матери, как, пошатываясь, бездомовник Яшка несет за горлышко две бутылки, как запирают в амбар пьяного попа за то, что он опрокинул квашню с тестом и, наконец, Шишков рисует покосившуюся избушку старой Мошны, страшной в своем безобразии и скаредности. А в конце этой безрадостной кар-

---

[1] Там же, стр. 61.
[2] Там же, стр. 178.

тины опять пестренькая собачонка забирается на пригорок и опасливо полаивает: «Гав... гав-гав...»

Кажется, так много всего на полутора страницах. Но дело в том, что нет здесь ничего лишнего. Каждая деталь художественного изображения необходима. Уберите эту пестренькую собачонку с ее тоскливым «Гав!.. гав-гав» и так же одиноко откликающимся ей в тайге эхом — и пропадет тот психологический настрой, исчезнет определенная эмоциональная окраска картины.

Таким образом, пейзаж В. Я. Шишкова в повести органически сочетает в себе и мир природы, и мир животных, и детали быта.

Из этой особенности шишковского пейзажа вытекает и другая, не менее интересная его черта — необычайная активность.

Пейзажи Шишкова не живут обособленной жизнью просто красивых картин, они сливаются с изображенными судьбами людей, дополняя, помогая раскрытию их внутреннего мира. Вот почему так тесно связаны в повести «Тайга» картины природы и картины быта.

«Кедровка — деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному... Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила»[1].

Такой пейзаж сразу настораживает. Но автор добавляет еще одну фразу: «Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок»[2]. И этого достаточно. Читатель ясно чувствует: плохо живется здесь людям. И он убеждается в этом на следующей же странице.

Он узнает, что в Кедровке «впроголодь живут, неумытые и темные, донельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котята»[3].

И автор от страницы к странице рассказывает нам о жизни кедровцев, несчастных людей, у которых, может быть, где-то в глубине души и таится что-то хорошее и доброе, иногда и падет будто на сердце жалость, «словно кто свечку зажег и осветил душу... тепло так, приятно, а потом — подошел черт с черной харей, дунул на эту свечку и притоптал копытом»[4].

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 19.

[2] Там же.

[3] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 21.

[4] Там же, стр. 53

А на отлете за деревней стоит покосившаяся избушка. В ней живет старуха Мошна. Она «вином приторговывает и сказки складно говорит». «Единственное оконце, с коровьим пузырем вместо стекла, бельмасто смотрит на улицу». Это Мошна считает в подполье деньги. Потом выползет оттуда, косматая, с жующим беззубым ртом, и погасит огонек в лохани. Тогда мигнет в последний раз бельмастое окно и защурится.

Вот эта художественная деталь — «бельмастое окно» покосившейся избушки, которое по ночам одно не хочет спать, сразу особым светом освещает образ Мошны — старухи-ведьмы, весь жизненный интерес который заключается в берестяном туеске с деньгами.

Но бывают и светлые мгновенья в жизни деревни. Это когда наступают праздники. Тогда «люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Ивanушка, Дуня, братец». Тогда звонарь Тимоха, «в розовой рубахе парень, весело идет к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон»[1].

И природа в радостном праздничном ликовании сливается с настроением людей. И собачонки весело носятся по дороге, облаивая стадо, и сороки «заливаются хохотом» и «усаживаются на прясло»[2].

А из-за реки веет «хвойным, таким бодрящим, острым запахом»[3].

Эти радостные картины природы отлично передают бодрое, хорошее утреннее настроение людей. Но вот проходит праздничное утро, и снова злоба черной змеей выползает у захмелевших кедровцев. Начинаются пьяные драки «крещеных», гнусные темные дела деревенских парней.

Обабок Тихоме-звонарю глаз подшиб да кому-то оглоблей окно высадил.

Мишка Ухорез и Сенька Козырь из мести режут мирно дремлющих коров Федота. И тогда начинается дикая кровавая расправа с четырьмя ни в чем не повинными бродягами.

И вся природа, как живое существо, реагирует на эту зверскую расправу: «солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь, ночью по небу звезда прокатилась — «слезинка небесная».

Необыкновенным лиризмом проникнута

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 63.

[2] Там же, стр. 61.

[3] Там же.

сцена прощания этих бездомных людей со всем окружающим, когда их ведут на казнь:

«Полем идут — цветами поле убрано,— прощайте, цветы!..

Черемуховой зарослью идут — черемуха белым-бела. Воздухом не надышишься, до того сладостен и приятен запах.

Тайгою идут — хорошо в тайге. Стоит молчаливая, призадумавшись, точно храм, божий дом, ароматный дым от ладана плавает»[1].

Но природа не только скорбит о невинно загубленных бродягах. Природа у Шишкова может и негодовать и мстить.

Когда свершилось темное дело пьяных, озверелых людей, «к седому вечеру... обложило все небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на улицу, прислушиваясь к все нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана»[2].

А «тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шелковые хвои, на что-то злясь»[3]. И наконец разразилась страшная гроза.

Образы природы в повести В. Я. Шишкова «Тайга» помогают лучше разглядеть и запомнить не только происходящие в деревне события, но и отдельных людей. Здесь намечается совершенно новая, неожиданно яркая особенность шишковского пейзажа — его сказочность. Ею пронизана вся повесть. Интересно то, что реалистические картины природы и быта здесь сочетаются с романтическими и сказочными. Причем одни и другие не отделяются резко друг от друга, а как-то органически связаны. Это отсутствие противоречивости, на наш взгляд, от того, что основа, на которой они созданы,— одна: и те и другие напоены живыми соками жизни. Именно поэтому сказочная струя становится особенно ощутимой тогда, когда автор изображает народную жизнь, которая никогда не обходилась без сказки. Вот почему сказочные картины природы в «Тайге» правдивы и нисколько не противостоят в целом реалистической повести.

Исследуя эти сказочные образы Шишкова, трудно указать точный источник, из которого они взяты. Да, пожалуй, было бы принципиально неверным выискивать сказки или поверья, «использованные» автором, ибо дело здесь не в каких-то конкретных источниках, а в самой авторской индивидуальности, в удивительно русском, фольклористическом восприятии природы (идущем, очевидно, от фактов биографии писателя), которое выступает особенно ярко, когда автор начинает раскрывать образы кедровцев.

Вот некоторые из них.

Мудрый старик бродяга Лехман. Он — «старичина дюжий, бородища изжелта-седая, огромная, прядями свалялась, нос с горбинкой, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гаркнет,— ох рост же у деда, ох и голос — труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик»[1].

Старый бродяга по-своему, по-особому любит тайгу. «Лишь загудит весной тайга», Лехман уж больше не может сидеть на месте и, «покорный зову тайги», идет «по ее звериным тропам»[2].

И вот ночью, у костра, когда Лехман свою «таежную думу» думает, автор окружает его сказочной, волшебной тайгой, тем самым помогая лучше увидеть образ этого старика лесовика, который, казалось бы, сам вышел из народной сказки.

Вот распутница Дарья. Много тяжких грехов у нее на душе. Жизнь ведет она гадкую, «соромную». «Дарья ищет забвенья, до бесчувствия пьет, часто посматривает в сеновале на перекладину, веревку в мыслях примеряет, но вовремя рубит мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос»[3].

И даже на нее могуче влияет тайга. Даша лет пять не была в тайге, «забыла ее ласковый говор, смолистый запах ее. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору... Эх, матушка — тайга!.. Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся... сердцу тяжело»[4].

А когда Дарья решает покончить со своей постылой жизнью, то природа с ней заодно. Бежит Дарья к избушке, чтобы покаяться миру, а «радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли...»[5]

---

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 154—155.
[2] Там же, стр. 176.
[3] Там же, стр. 177.

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 33.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 121.
[4] Там же, стр. 120.
[5] Там же, стр. 134.

Но не покаялась Даша, погас в ее душе этот светлый порыв. Идет обратно темная, суеверная солдатка, «и уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит «Дура... эх ты, дура!» [1].

Так же не прощает природа «угодному богу» Устину его отступничество от мира, от людей в тяжкую минуту.

Страшной бурей настигает его в лесу: «Трещит тайга, ухает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов, все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повылезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедра поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошел крутить: как махнет кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го!» [2] И звериный страх гонит деда обратно в Кедровку. А удары грома «раскатисто и злобно рычат» ему в спину». «Согрешил, согрешил!»— ликует темный рев тайги и, настегивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства».

Особенность Шишкова — пейзажиста в том, что его сказочные образы природы — не заоблачная фантазия; они до краев наполнены жизнью и точно помогают раскрытию психологии героев повести. В этом принципиальное отличие Шишкова от некоторых других писателей, например от Л. Андреева.

В. Г. Короленко в статье, посвященной Л. Андрееву, критикует его за то, что тот описывает ночь в «Василии Фивейском» «как какое-то бесноватое чудовище. Она ощупывает мертвыми руками стены, дышит холодом, поскрипывает зубами, кувыркается в поле, обнимает закоченевшую землю. Она злобно визжит, воет голодным тоскливым воем» и т. д. Эту концепцию Короленко называет «фетишистской» за то, что она нарушает требования художественной правды. Он пишет, что у Л. Андреева образ ночи оторван от реальной природы, что его ночь — это «какое-то **отдельное существо,** не слившееся с природой, но только живущее в ее обстановке своей **особой жизнью.»**

Короленко противопоставляет Л. Андрееву других художников, которые «описывают природу терминами человеческих ощущений: буря стонет, плачет, злится, печалится, грустит. Это и неизбежно и правдиво: под условными выражениями вы чувствуете связь, извечную, неразрывную, скажем даже таинственную, между природой и душой человека, которая есть ведь то же явление природы и потому тесно связана с нею миллионами своих живых ощущений» [1].

Вот именно эту «извечную» связь человеческой души и природы и выражает Шишков своими пейзажными зарисовками. Его пейзажи настолько активны, настолько слиты с изображаемыми людьми, с их мироощущением, что, «читая ту или иную картинку природы, мы как бы читаем душу человека. И не случайно в пейзажные страницы, связанные с образами солдатки Дарьи, «угодного богу» Устина, больной Анны и других вплетаются и черти, и лесовик, и «все страхи лесные». Люди из народа, Дарья, Устин, Анна, пропитаны его поверьями, преданьями, и поэтому сказочность в пейзаже в восприятии ими окружающего исходит не от какого-то фетишистского отношения к природе, а от ощущения неразрывности с нею. Да и сам характер образов природы Шишкова совсем не тот, что у Л. Андреева. Если у Андреева образ ночи в «Василии Фивейском» окрашен пессимистическим, упадническим духом, идущим от мироощущения автора, то, читая описание природы Шишкова, так и видишь избушку на курьих ножках, сказочные богатырские деревья и другие народные образы, полные мощи и жизни.

Вот почему в **сказочном** пейзаже Шишкова — художественная **правда.**

Есть еще одна особенность изображения природы в «Тайге»: пейзаж здесь не просто тесно связан с людскими судьбами, но активен настолько, что природа порой говорит больше, чем может показать автор образами людей.

Невольно хочется сравнить художественные посылки «Тайги» и романа Горького «Мать».

На первый взгляд это может показаться странным: сугубо реалистический роман пролетарского писателя и овеянная сказочными образами повесть. Но ведь в романе и в повести речь идет по сути дела об одном и том же: о нарастании революционной бури. А выражена эта важная идея совершенно по-разному.

Вот начало романа Горького: «рабочая слободка, в которой в «маленьких серых» до-

---

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 135.

[2] Там же, стр. 181.

[1] М. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири. Огиз, 1947, стр. 183—184.

мах жили «угрюмые люди»[1]. Они говорили и думали только о том, что связано с работой, а по праздникам до бесчувствия напивались, били жен, «из-за пустяков, бросались друг на друга с излоблением зверей»[2].

«В отношениях людей всего больше было чувство подстерегающей злобы»,— пишет Горький.

Таким тяжелым, мутным потоком текла жизнь, и «никто не имел желания попытаться изменить ее»[3]. Лишь изредка в слободку приходили посторонние люди, «говорили что-то неслыханное» в слободке, и тогда у некоторых пробуждалась «смутная тревога», беспокоила «тень надежды на что-то неясное...»[4]

И точти то же у Шишкова: в Кедровке люди в «злобствовании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту,— жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина... Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчемную жизнь»[5]. Но пришел из Питера домой Спирька-солдат, рассказал разных небылиц и ушел. «И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали»[6].

Вот так сходно и в то же время совсем по-разному начинаются эти два произведения.

И тоже сходно и вместе с тем по-разному выражается основная идея повести и романа.

Два больших русских писателя А. М. Горький и В. Я. Шишков увидели одну и ту же страшную картину народной жизни в царской России и поняли неизбежность и закономерность грядущей революции. Но Горький, в отличие от Шишкова, понял это не только чутьем художника, но и политическим знанием жизни пролетария и поэтому роман его — не только показ развертывающейся революционной бури, но и вдохновенная поэма о рождении партии пролетариата и о рождении нового человека.

Шишков же в силу определенной «ограниченности общественных представлений» в эти годы не мог дать всестороннего изображения назревающей революции, а показал ее символически через пожар тайги. В этом смысле интересен эпиграф, предпосланный «Тайге»:

> «И тогда небеса с шумом
> пройдет, стихии же, сжигаемы,
> разрушатся, земля и все дела
> на ней сгорят... Но мы нового
> небеси и новой земли чаем,
> где правда живет».
>
> (Второе послание Петра, гл. III,
> стр. 10 и 13).[1]

Этот эпиграф как раз и выражает то «наивное социализирование», о котором говорил Бахметьев. Но революцию, возглавляемую пролетариатом, приветствовал Шишков, он пел гимн стихийному пожару, отвлеченной гуманистической правде вообще.

В эпилоге писатель изображает тайгу, охваченную морем огня, которое идет «рокочущей лавиной, бешено неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, расскачиваясь и тревожа корни. Но тщетно гудели они вершинами, тщетно роняли смолистые слезы... Дальше и дальше, настойчиво и властно плывет пылающая лавина, и нет сил остановить ее».

Так пейзаж говорит о неизбежности разрушения старого мира и предрекает появление «новой земли..., где правда живет».

Таким образом, уже для ранних рассказов В. Я. Шишкова, в том числе и для повести «Тайга», характерна индивидуальная неповторимость пейзажа, стремление художника взглянуть на природу Сибири глазами старожилов и аборигенов края. А отсюда сказочные и в то же время удивительно живые и реалистичные краски пейзажных картин и зарисовок.

---

[1] М. Горький. Собр. соч., т. 8, М.—Л., 1933, стр. 36.

[2] Там же, стр. 37.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 38

[5] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 21.

[6] Там же, стр. 19.

[1] В. Я. Шишков. Собр. соч., т. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 19.

АЛЬМАНАХ АНГАРА № 2

Редактор *В. П. Гусенков*
Худож. редактор *Е. Г. Касьянов*
Техн. редактор *А. В. Пономарева*
Корректор *Л. В. Глаголева*

Сдано в набор 4 апреля 1963 г. Подписано к печати 13 июля 1963 г.
Печ. л. 6,96. Уч.-изд. л. 7,93. Бумага 84 Х $108^1/_{16}$. Заказ К-191. Тираж 3000.
НЕ 03630. Цена 60 коп.

Иркутское книжное издательство, ул. Горького, 36.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата Иркутского
областного управления культуры, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

60 к.